

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

ФИЛЬМ БОРИСА ХЛЕБНИКОВА

СНЕГИРЬ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКИПАЖА

18+

Кинобестселлеры

Георгий Владимов

Три минуты молчания. Снегирь

«Издательство АСТ»

1969

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Владимов Г. Н.

Три минуты молчания. Снегирь / Г. Н. Владимов —
«Издательство АСТ», 1969 — (Кинобестселлеры)

ISBN 978-5-17-155416-3

Правдивое и захватывающее повествование о полном опасностей плавании и о людях моря, последних романтиках. Рыболовное судно – плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждёт команду корабля. Специальное издание к выходу фильма Бориса Хлебникова «Снегирь».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155416-3

© Владимов Г. Н., 1969
© Издательство АСТ, 1969

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Георгий Владимов

Три минуты молчания

© Владимов Г.Н., наследники
© ООО «Кинокомпания “СТВ”»
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

*Ты не Дух, – он сказал, – и ты не Гном.
Ты не Книга, и ты не Зверь.
Не позорь же доброй славы людей,
воплотись ещё раз теперь.
Живи на Земле и уст не смыкай,
не закрывай очей
и отнеси сынам Земли
мудрость моих речей:
что каждый грех, совершённый двумя,
и тому, и другому вменён.
И... Бог, что ты вычитал из книг, да будет
с тобой, Томлинсон!*

Редьярд Киплинг¹

¹ Пер. с англ. А. Оношкович-Яцыны.

Глава первая

Лиля

1

Сначала я был один на пирсе. И туман был на самом деле, а не у меня в голове.

Я смотрел на чёрную воду в гавани – как она дымится, а швартовые белеют от инея. Понизу ещё была видимость, а выше – как в молоке: шагов с десяти у какого-нибудь буксирчика только рубку и различишь, а мачт совсем нету. Но я-то, когда ещё спускался в порт, видел – небо над сопками зелёное, чистое, и звёзды как надраенные, – так что это ненадолго: к ночи ещё приморозит, и Гольфстрим остудится. Туман повисит над гаванью и сойдёт в воду. И траулеры завтра спокойненько выйдут в Атлантику.

А я вот уже не выйду. Я своё отплавал. И дел у меня никаких в Рыбном порту не было; просто завернул попрощаться. Посмотрю в последний раз на всю эту живопись, а после – смо-таю удочки да и подамся куда-нибудь в Россию. В смысле – на юг.

Тут они являются, два деятеля. Вынырнули из тумана.

– Кореш, – кричат, – салют!

Оба расхристанные, шапки на затылке, телогрейки настезь, и пар от них, как от загнан-ных.

– Салют, – говорю, – кореши. Очень рад видеть.

А на самом деле – никакие они мне не кореши. Ну, с одним-то, с Вовчиком, я корешил недолго, рейса два сплавали вместе под тралом, даже наколками обменялись. У него на пальцах «Сеня» выколото, а у меня – «Вова». Ну, выколото, и ладно. А второго-то, пучеглазого, я вообще в первый раз видел. А он-то громче всего и орал. И с ходу лапаться полез мослами своими загребущими.

– Гляди, кого обнаружили! Нос к носу вышли – при такой видимости. Как это понимать, Вовчик?

«А так и понимать, – думаю, – что ты носом своим лиловым всегда кого надо обнару-жишь. А раньше всего – денежного человека». Видно же, с кем имеешь дело – с бичами² непро-мысловыми. Которые в море не ходят, только лишь девкам травят про всякие там «штормяги» и «переплёты». Не портовым девкам, а городским. А все-то ихние «переплёты» – сползать раз в день отметиться в кадрах, лучше всего – под вечер, когда уже вся роль на отходящее судно заполнена. Ну, и дважды в месяц потолкаться возле кассы, получить свои законные – семьдесят пять процентов. Чем не жизнь? И вечно они кантуются на причалах, когда траулеры шварту-ются и ребята на берег сходят с авансом. Тут они тебя прижмут – гранатами не отобьёшься. «Салют, Сеня! Какие новости? Говорят, в Атлантике водички поубавилось, пароходы килём по грунту чешут, захмелиться бы надо по этому поводу. Моряки мы или не моряки?» И знаешь ты их, как родных, а всё равно – и поишь, и кормишь, потому что любому рылу береговому рад, и душа твоя просится на все четыре стороны.

– Что, – спрашиваю, – бичи? На промысел топаете?

– Какой теперь, к шутам, промысел? – пучеглазый орёт. – Не ловится в этот год рыбёшка. Научилась мимо сетки ходить.

– А ты почему знаешь?

² Происходит от английского «beach» – пляж, берег, морская отмель. «To be on the beach» – быть на мели, в отставке (морской сленг). Здесь и далее примечания автора.

– Осподи! Сами ж неделю, как с моря.

А море он в позапрошлом году видел. В кино. Потому что у нас не море, а залив. Узкий, его между сопками и не видно. А неделю назад я сам вернулся из-под селёдки, и этот же Вовчик меня на этом самом причале встретил.

Смутился Вовчик.

– Ну где ж неделя, Аскольд? Больше месяца.

– Да где ж месяц?

– А где же неделя?

Уйти бы мне от греха подальше, но, сами понимаете, интересно же – кто сегодня пришёл, кого в последний мой день принимают в порту, а верней всего у бичей узнаешь, можно к диспетчеру не ходить.

– Ладно, – говорю, – считаем: неделя без году. Кого встречаете, Вовчик?

– Своих трёхручьёвских, – отвечает мне Вовчик. А он, и правда, к женщине одной, инкассаторше, на Три Ручья³ ездил. Трёхручьёвские ему, конечно, свои. – Триста девятый пришёл, «Медуза».

Ну, и пошёл, конечно, обыкновенный рыбацкий трёп:

– А куда ходили?

– К Жорж-Банке⁴.

– А что брали?

– Окуня брали, хека серебрястого.

– И хорошо брали?

– Не сильно.

– Штормоваться пришлось?

– Что ты! Штиль всю дорогу, хоть брейся. Гляди в воду и брейся. Хотя, окунь-то, он в штиль не любит ловиться.

– Значит, и плана не набрали?

– Да почти что в пролове. Премия-то, ясно, накрылась. Ну, гарантийные получают, и коэффициенту набежит; под Канадой – там вроде ноль-восемь.

Всё знают бичи: и кто куда ходил, и как рыбу брали, и кто сколько получит. Зато сами в пролове не бывают.

– Дак вот, плешь какая, – Аскольд опечалился. – Пришли ребята с Жорж-Банки, четыре месяца берега не нюхали, а их в порт не пускают. Локатор из строя вышел. Со вчерашнего дня и стоят на рейде, видимости ждуют.

– Что ж, – говорю, – целее будут.

Но это они умеют мимо ушей пропустить. Помолчали для вежливости. Вовчик спрашивает:

– А у тебя чего, отход на сегодня назначен?

– Нет, – говорю, – кончилась для меня эта музыка.

– Списали, значит?

– Зачем? Сам решил уйти.

– Что ж так?

– А вот так. Надоело.

– И документы забрал?

– За этим, что ли, дело – с тюлькиной конторой расчихаться?

– Н-да, – говорит Вовчик, – куда ж ты теперь пойдёшь?

– Не пойду, – говорю, – а поеду.

³ Три Ручья – район Мурманска, расположенный по другую от центра города сторону залива.

⁴ Джорджес-Банка – обширное мелководье у берегов Канады.

– На другое море?

– Люди, Вовчик, не только ж по морю ходят. И на сухом месте объякориться можно.

– Можно. Да смотря как.

– Ну, по крайней мере, не как у тебя, по-глупому: ни в море, ни на земле.

Аскольд стоял и помалкивал, губы развесив, как будто его не касалось. А Вовчика я всё же смутил. Да ведь он уже долго бичевал, пообвыкся в бичах, плюнешь в него – утрётся.

– Что ж, – говорит Вовчик, – тут грех отговаривать. Если человек решился. Может, захмелимся по этому поводу?

– Да захмелиться-то недолго...

– А что мешают? Монеты кончились? Вон, Аскольд пиджак может заложить, ты расчёт получишь – выкупишь.

– Монеты не кончились, Вова. Дураки, – говорю, – кончились.

За такие речи любой моряк дал бы мне по глазам. Но эти уже и забыли, когда и звались по-честному моряками, они только переглянулись, когда я сказал про монеты; Аскольд даже губу лизнул. А все деньги у меня при себе были, в платке, в нагрудном кармане, заколотые булавкой, – тысяча двести новыми. Всё, что осталось с последней экспедиции. Мы ходили под селёдку в Северное, к Шетландским островам, и рыба хорошо заловилась – иной раз по триста, по четыреста бочек в день брали – поуродовались, как карлы⁵, зато и премию взяли, и прогрессивку. И тридцать процентов начислили мне полярки⁶. А истратил я – на папиросы в лавочке, на лезвия, ну и долги по мелочам роздал, и матери по аттестату. Ну, приход свой, конечно, отметил – рублей на полста. Но уж в кредит на плавбазах не взял ни на рубль, и на берегу ни одной стерве не перепало. Кончился для некоторых Сенька Шалай, списывается по чистой и аванса не просит.

Так вот, я и говорю им:

– Монеты не кончились. Дураки кончились.

– Как это понимать, Вовчик? – Аскольд понемногу обидеться решил, багровый сделался, глазища только на шапку не вылезли. – Это он, выходит, с матросами не желает знаться!

А Вовчик, друг мой, кореш, засмеялся и говорит:

– Он же шпак теперь без пяти минут, разве не слышал? Он теперь в Крым поедет, будет там на пляже придуркам травить, какая в Атлантике сильная погода.

Хотелось мне врезать ему, но ведь кореш всё-таки, да и я ему тоже не комплименты говорил, – раздумал и пошёл от них подальше. У меня в этот день была мечта – обойти все причалы, пароходы поглядеть, судоверфь, сходить на катере в доки на Абрам-мыс, везде побывать, где я бывал, откуда уходил в море или в ремонте стоял, нёс береговую вахту, – а теперь вот сразу и расхотелось. Потому что ещё кого-нибудь встретишь и не отвяжешься, такие пойдут беседы.

– Обожди-ка! – Вовчик мне крикнул. Так они и стояли на пирсе, но уже лица не увидишь, одни ноги свисали из тумана. – Значит, не повстречаемся больше? Так, что ли, кореш? А мне и подарить тебе на прощание нечего.

– Подари, когда будет, Аскольду.

– Он и сам тоже предлагает: подарить бы чего дураку. Чтоб хоть память осталась. А хочешь – мы тебе курточку сосватаем?

– Какую ещё курточку?

– Лопух, в чём же ты уедешь?

Подожли, и Вовчик меня взял за пальто, раздразил на груди.

⁵ Это загадочное сравнение автор объяснить не берется.

⁶ Надбавка к жалованью за само пребывание на Севере, по 10 % за каждый год. Рассказчик, стало быть, отбыл три года.

– Срам! Девки на первом броде⁷ засмеют. Ну, флотский! Ну, северный! Бостоном не мог обшиться, макен⁸ позаграничнее нацепить. Жмётся вот, а себе же и прогадываешь. Где он, этот-то, с курточкой?

– Здесь он, – Аскольд куда-то рукой махнул. – Промеж пакгаузов ходит.

– Понимаешь, механичек тут один, с торгового, такого курта загоняет: ты во сне увидишь, проснёшься и опять скорей заснешь!

– Норвежская! – пучеглазый орёт. Чем другим, а глоткой бог не обидел малого. – С мехом, понял, на подстёжке. Цветом не то вроде серенькая, а не то, понял, тёмненькая такая, в дымчик. Что ты! У спекулей разве такую достанешь?

– А он что, не спекуль? Торгаш⁹ этот.

– Ну где ж спекуль? – Вовчик мне доказывает. – Сотнягу просит. Можно считать, даром отдаёт. Ну, бывает несчастье у человека – купил, а не в размер. А на тебя, мы так прикинули, в сам раз.

А я, в том-то и дело, насчёт такой курточки давно мечтал. Сраму-то на мне не было, – вот уж на них срам, это точно! – а у меня пальто было велюровое, с мерлушкой, костюм коверко-товый, шапка тоже в порядке. Но всё моё – что на мне надето. Так и затаскать недолго, следить же за мной некому. А главное, во внешнем облике, как говорится, ничего у меня морского-то не было, один тельник полосатый под рубашкой. А всё-таки море меня видело, память должна же остаться!

– Чего раздумываешь? – спросил Вовчик. – Так он тебя и ждал, торгаш, с этой курточкой! Ну-к, стой тут на пирсе, никуда не беги...

Прихлопнули меня по плечам, и нет их, растаяли. А я стою и жду. А потом думаю: лопух я, вот уж действительно! Доверился бичам, чтоб они мне барахло сватали. Ведь они четвертак за комиссию попросят, у них такой преЙскурант, за прекрасные глаза ничего не делается. А нужна мне ихняя комиссия! Что я, сам бы не мог торгаша этого повстречать? К тому же, на моих золотых, смотрю, уже два пробило, вот-вот стемнеет.

И снялся я с места, пошёл по причалам, под кранами, вдоль пакгаузов. Потом увидел – ни к чему всё это. Да и туман. Хороший я себе денёк выбрал для прощания! Но ведь его не выбираешь, проснёшься как-нибудь утром – или сегодня, или никогда! А почему именно сегодня, не надо и спрашивать. Как спросишь – так и раздумаешь.

И всё-то я знал в Рыбном порту, любую дорогу отыскал бы с завязанными глазами – только по запаху, по звуку. Вот я слышу: солёной рыбой уже не пахнет, а пахнет мороженым свежём, аммиаком, – это я на десятом причале, возле рефрижератора. Дальше – мочёными досками запахло, ручники стучат по железу, шофера матерятся, – тарные склады, двенадцатый причал, здесь контейнеры набивают порожними бочками. Ещё дальше – нефтяной дурман, и насосы почмокивают, – там уже тринадцатый, там топливо берут и воду.

Если бы я ещё лет пять проплавал, я бы и не это знал – чьи там гудки перекликаются, чья сирена попискивает – водолазов зовёт или сварщика, и как этого диспетчера зовут, который в динамик хрипит на всю гавань:

– «Чеканщик»! Включите радио, «Чеканщик»!.. Буксир «Настойчивый»! Переведите плавбазу «Сорок Октябрей» на двадцать шестой причал...

Но я, пожалуй, и так слишком долго плавал. Хватило бы мне и года. И ничего бы я такого не переживал. Уехал бы и как-нибудь прожил без моря. А может быть, и не прожил бы, – человек же про себя ничего не знает.

⁷ Брод – место, где бродят, знакомятся, гуляют, – бульвар, набережная и т. п. (*сленг*).

⁸ Макен – макинтош, плащ.

⁹ Торгаш – моряк или судно торгового флота.

У Центральной проходной я оглянулся напоследок и ничего не увидел. Туман загустел – кажется, руку протянешь и пальцев своих не разглядишь.

Однако бичи меня разглядели. Совсем, бедняги, задохлись, но догнали у проходной. И с ними торгаш, с чемоданчиком. А я и забыл про них.

– Что же ты подводишь? – Аскольд кричит. – Мы к тебе со всем доверием, а ты и закосил. Как это понять, Сеня?

Торгаш меня сразу глазами смерил.

– Этот, что ли? Напрялим.

Он в порядке был морячок – ладненький, резвый, шуба-канадка на нём с шалевым воротником, мичманка на месте, козырёк на два пальца от брови. Это мы, сельдяные, всё больше в пальтишках, в телогрейках. А торгаши себя уважают.

Мы отошли шага на два, за щиты с газетами, и тут он вытащил свою курточку.

Какая это была курточка! Просто явление природы, и более того. Поперёк груди – белые швы зигзагами, подкладка – сиреневая, скрипучая, карманы внутри на «молниях», и по бокам ещё два косых, белым мехом отороченных, и капюшон на меху, а от него до пояса «молния», а в плечах погончики вшитые с «крабом», без всяких там якорей, якоря – это старо, и рукава тоже мехом оторочены. А насчёт цвета и говорить не будем – как штормовая волна баллах при восьми и когда ещё солнце светит сквозь тучи...

– Сдохнуть можно, – пучеглазый чуть не навзрыд. – Эх, ты, мой куртярик!

– Ладно, ты, – Вовчик ему сурово. – Не куртярик, а прямо-таки куртенчик. Ты только руками не лапай, твоим он не родился.

– Ну, как? – торгаш говорит. – Тот самый случай?

Мне бы спросить, почём твоё сокровище, но так же не делается, так только вахлаки на базаре торгуются, надо сперва намерить. Я скинул пальто, дал его Аскольду подержать, а пиджак взял Вовчик. Курточка мне и вправду оказалась «в сам раз», ну чуть свободна в плечах. Но это ведь не на год покупается, я же ещё раздамся.

Они меня застегнули, прихлопали, поворотили на все стороны света, торгаш с меня шапку снял и свою мичманку мне надел, как полагается. Потом открыл чемоданчик – там у него в крышку вделано зеркальце.

– Не торопись, – говорит, – посмотришь подольше. Надо же знать, какое действие производишь. Акула увидит – в обморок упадёт.

Вид был действительно – как у норвежского шкипера. Только скулы бы чуть покосее. Рот бы чуть пошире. Глаза бы – не зелёные, а серые. И волосы без этой дурацкой рыжины. Но ничего не поделаешь.

– Сколько? – спрашиваю.

– Ну, если нравится, то полторы.

– Как «полторы»? Ты же сотню просил.

– За такую курточку, родной, не просят. За неё сами дают и говорят спасибо. Кто тебе сказал – сотню?

Бичи, конечно, уже по сторонам загляделись.

– А больше, – говорю, – она не стоит.

Торгаш моментально мичманку с меня стащил и куртку расстёгивает.

– Будь здоров, – говорит. – Привет капитану!

– Постой. – Я уже понял, что так просто мне с нею не расстаться. – Сколько, если для конца?

– Вот для конца как раз полторы. Для начала две хотел, но – засовестился. Вижу – идёт тебе.

Я потянулся было за пиджаком, а Вовчик уже, смотрю, вынул всю пачку, развернул платок и сам отмусоливает пятнадцать красненьких. Торгаш их перещупал, сложил картинками в

одну сторону, последнюю – поперёк, как в сберкассе, и нету их, сунул за пазуху. Аскольд тем временем надрал газет со щита, завернул мне пиджак.

– Ну, сделались? – торгаш говорит. – Носи на здоровье.

– Что ты! – Аскольд ему улыбается и трогает под локоть. – Не-ет, это мы ещё не сделались.

Не знаешь ты нашего Сеню. А он у нас – добрый человек. Правда же, Сень?

Откуда ему, пучеглазому, знать, добрый я или злой? Первый раз человека видит. Добрый – значит, всю капеллу теперь захмели. А торгаш и так на мне руки нагрел, с ихней же помощью.

– Конечно, – говорю, – добрей меня нету!

– А замечаешь, Сеня? – всё пучеглазый не унимается. – Мы с тебя за комиссию ничего не берём. А вообще – берут. Замечаешь?

Да, думаю, тяжёлый случай. Ну, что поделаешь, раз уж я в эту авантюру влез.

– Гроши-то спрячь, – Вовчик напомнил. – Раскидаешься.

Я взял у него пачку, уже завёрнутую и булавкой заколотую, и так это небрежно затиснул в курточку, в потайной карман. Как она, эта пачка, не задымилась от ихних глаз? Любим же мы на чужие деньги смотреть!

2

И мы, значит, с ходу взошли в столовую – тут же, у Центральной проходной, и сели в хорошем уголке, возле фикуса. А над нами как раз это самое: «Приносить-распивать запрещается».

– Это ничего, – говорит Вовчик. – Это для неграмотных.

Одолжил у торгаша самописку и приделал два «не». Получилось здорово: «Не приносить и не распивать запрещается».

– Вот теперь, – говорит, – для грамотных.

Но мы всё сидели, грамотные, а никто к нам не подходил. Официантки, поди-ка, все ушли на собрание – по повышению культуры обслуживания.

– Бичи, – говорю, – не отложить ли нам встречу на высшем уровне?

– Что ты! – Аскольд вскочил. – С такими финансами мы нигде не засидимся. Сейчас пойду Клавку поищу, Клавка нам всё устроит, на самом высшем.

Пошёл, значит, за Клавкой. А торгаш поглядывал на нас с Вовчиком и посмеивался. У них в торговом порту всё это почище делается, и никто этих дурацких плакатов не пишет. Всё равно же приносят и распивают, только не честь по чести, а вытащат из-под полы и разливают втихаря под столиком, как будто контрабанду пьют или краденое.

Пришла наконец Клавка, стрельнула глазами и сразу, конечно, поняла, кто тут главный, кто платит. Передо мной и с чистой скатёрки смела.

– Мальчики, – говорит, – я вам всё сделаю живенько, только чтоб по-тихому, меня не выдавайте, ладно?

– Сколько берём? – Аскольд захрипел. По-тихому он не умеет.

– Ну, сколько, – говорю, – четыре и берём, раз уж мы сидя, а не в стоячку. Пора уже вам жизнь-то понимать!

– Вот это Сеня! Добрый человек! А ты думаешь, Клавдия, почему он такой добрый? А он с морем прощается нежно, посуху жить решил.

Очень это понравилось Клавке.

– Вот, слава богу! Хоть один-то в море ума набрался. Ну, поздравляю.

– А ты думаешь, Клавдия, мы не добрые? Видишь, как мы его прибархлили?

– Вижу. Хорошо, если эту курточку и его самого до вечера не пропьёте. – Клавка мне улыбнулась персонально. – Ты к ним не очень швартуйся, они пропащие, бичи. А ты ещё такой молоденький, ты ещё человеком можешь стать.

Вся она была холёная, крепкая. Красуля, можно сказать. А лицо этакое ленивое, и глаза чуть подпухшие, будто со сна. Но я таких – знаю. Когда надо, так они не ленивые. И не сонные.

– Кому от этого радость, – спрашиваю, – если я человеком стану? Тебе, что ли?

Опять она мне улыбается персонально, а губы у неё обкусанные и яркие, как маков цвет. Наверно, никогда она их не красила.

– Папочке с мамочкой, – говорит. – Есть они у тебя?

– Папочки нету, зато мамочка ремнём не стегаёт. Неси, чего там у тебя есть получше.

– Не торопись, всё будет. Дай хоть наглядеться на тебя, залётного...

Торгаш посмотрел ей вслед, как она плывёт лодочкой, не спеша, чтобы на неё подольше глядели, и даже присвистнул.

– Хорошая, – говорит, – лошадка. И ты уже определённое действие производишь. Я бы уж не пропустил, ухлестнул бы на твоём месте.

– Что же не ухлестнёшь?

– Своя имеется. Пока хватает.

– Тоже и у меня своя.

– Это другое дело.

Правду сказать, насчёт «своей» это я так брякнул. Были у меня «свои», только они такие же мои, как и дяди-Васины, – но вот за такими Клавками, крепенькими, гладкими, на портовых щедрых харчах вскормленными, я ещё салагой гонялся. И с ними-то я быстрее всего состарился.

Принесла она «рижского» на всех и закусь, какой и в меню не было, – прямо как для ревизии, – жаркое «домашнее» и крабов, даже копчёного палтуса. Поставила передо мною поднос и так это скромненько:

– Угодила?

Я и не посмотрел на нее.

– Ух ты, рыженький, какой сердитый! А говорил – что жизнь понимаешь. Как же ты её понимаешь, скажи хоть?

Ни больше, ни меньше захотела знать! И ещё я почему-то рыженький для нее. Ну, есть малость, но никто меня так не называл.

– Сколько надо, – говорю, – столько понимаю. На всё другое боцман команду даст. Что касается тебя – не глядя вижу.

– Ах, – говорит, – какой залётный!..

Опять они с Аскольдом ушли, потом он приносит, озираясь, четыре поллитры в телогрейке, и мы с них зубами содрали шапочки, налили по полному и покрасили пивом. Они-то по половинке решили начать – для долгой беседы, а мне – о чём с ними особенно беседовать, хлопнул его весь, ну и другие за мной, ободрённые примером.

– А ты здоров! – торгаш говорит.

Он и то заслезился, а уж, наверно, отведал там, в загранке, и ромов, и джинов. Стали закусывать быстренько, как будто нас кто-то гнал.

– Вот, Сеня, – Вовчик ко мне придвинулся и начал проповедовать. Он как выпьет, всегда чего-нибудь проповедует. Тем он мне и надоел. – Видишь, как всё красиво, по-мирному получилось, а ты уже и знаться с нами не хотел. А я тебе так скажу, Сеня: не отрывайся ты от бичей, они тебе родная почва. Настоящих бичей, как мы с Аскольдом, мало осталось, все – шушера, никто тебе не поможет. Вот ты с флота уходишь, а никого вокруг тебя нету, один ты по причалам шляешься. Почему бы это, Сеня? А мы тебя и проводим, и на поезд посадим, рукой хоть помашем тебе.

Торгаш мне подмигнул.

– Пропаганда.

Но мне вдруг так жалко стало Вовчика. Ведь спивается мужик, и ничего я тут не поделаю. Я его бить хотел – ну куда его бить! Руки у него трясутся, капли по бороде текут, глаза мутные, в них жилки краснеют. И Аскольда этого пучеглазого мне тоже стало жалко. Орёт, дурень такой, рот у него не закрывается, губы никак не сложит, ну жалко же человека, разве нет!

И так мне захотелось утешить Вовчика, и Аскольда утешить, и торгаша заодно – наверное, не от хорошей жизни такую куртку толкнул...

– Об чём говорить, бичи! – это я, наверное, во всю глотку рявкнул, потому что набилось тут много портового народа, и все на меня глядели. – Вечером сегодня отвальную даю – в «Арктике»! Всех приглашаю!

Бичи мои взвеселились, Аскольд ко мне обниматься полез, чуть глаз мне не выколол щетиной.

– Нет, – говорит, – ты мне объясни: за что я тебя сразу полюбил? Вот веришь – не знаю. Но я всем скажу: «Это такой человек! Таких теперь нету, все умерли!»

А Вовчик справился с нервами и говорит:

– Отвальная – это здорово! Святой закон. А сколько ж ты на неё отвалишь?

– О чем ты говоришь, волосан! – Аскольд ему рот ладошкой прикрыл. – Мелко плаваешь, понял. Не хватит у него, так я пиджак заложу. Сейчас вот Клавку позову и заложу!

– Не надо, – говорю, – поноси ещё. Будь другом, поноси.

– Так, – кореш мой, Вовчик, соображает. – А ежели мы с собой кого приведём?

– Валяй, приводи свою трёхручьевскую. И я свою приведу.

– Ясное дело, – Аскольд кивнул важно. – Какая же отвальная без баб? А кто она у тебя? Может, она какая-нибудь тонкая, не захочет с бичами в ресторане сидеть. Не все же такие, как ты, Сеня!

– Как так не захочет? Раз вы со мной – захочет.

Вовчик совсем растрогался – опять всем налил по полному, и мы опрокинули, а пивом уже не закрашивали, не до того было, и тут я почувствовал, что не худо бы и кончить.

Я закусил наспех, а потом встал и качнулся, голова пошла кругом, но всё же выстоял.

– Салют вам, бичи! До вечера.

– Да посиди ты, – Аскольд меня не пускал. – И не побеседовали, душой не раскрылись. А ведь интересный же ты человек, содержательный, многогранный!..

– В «Арктике» побеседуем. Всё в «Арктике» будет.

Тут Клавка подошла, не понравилось ей, что мы так расшумелись, а я её взял за плечи и поцеловал за ухом, в пушистый завиток.

– И тебя, дурёха, тоже приглашаю.

Она и не спросила – куда, только кивнула и засмеялась.

– Значит, так, – стал Вовчик черту подводить. – Столик на восемь персон. Это тридцатку кладём на первый заказ, ну и официанту на лапу...

Аскольд авторитетно бровями подтвердил. Чёрт знает, что у них там за арифметика. В жизни, наверно, за приличным столиком не сидели, с таких всегда деньги вперёд просят. Да мне перед Клавкой не хотелось торговаться. И неудобно было, что деньги у меня в платке, как у какого-нибудь сезонника. Но Клавка не стала смотреть, собрала посуду и ушла, и я развернул всю пачку и отсчитал – и на заказ, и на лапу, и за всё, что мы тут имели.

Торгаш заторопился, надел свою мичманку и снова сделался ладненький, ни в одном глазу.

– Погоди, – Аскольд мне сказал, – Клавка тебе сдачу сосчитает.

– Сами сосчитаете.

«Всё равно у вас, – думаю, – с Клавкой одна коалиция. Ну и чёрт с вами, а я буду – добрый. Помирать мне придётся с голоду – вы мне копыя не подкинете, знаю. И всё равно я буду добрый. Вот я такой. Я добрый, и всё тут...»

Торгаш вышел со мною.

– Ты, – спрашивает, – серьёзно это, насчёт приглашения?

– Что за вопрос?

– А то, что девка правду сказала, ты к ним не больно жмись.

– Такая же она, эта девка!

– А не важно, кто учит. Ко всем прислушивайся. Гроши попридержи, не носи так. Уродовался, наверно, в море за эти гроши.

– А для чего ж уродовался? Чтоб скрипеть над ними? Пусть знают мою доброту.

– Это они знают, родной. А поэтому семь шкур сдерут – и мало покажется.

Ну что вы скажете – профессор! Но, между прочим, сам только что полторы шкуры содрал, – от стыда не помер.

– Будь здоров, – говорю. – Придёшь в «Арктику»?

– Точно не обещаю. А в смысле курточка – вспомнишь меня не раз. Ей сносу не будет. Заляпаешь чем – потри ацетончиком и опять она новая.

– Вспомню, – говорю. – Потру ацетончиком. Салют!

3

Я вышел из порта весёлый, и мороз мне был нипочём, вот только пиджак и пальто неудобно было тащить – все, кто ни шёл навстречу, ухмылялись: ну и фофан, обарахлился, до дому не утерпел. И я подумал – сколько ни живи с людьми, а что они про тебя запомнят? Как ты глупый и пьяненький по набережной шёл. И ладно, какая мне от этого печаль, не вернусь я в эти места никогда.

Сверху уже не видно было – ни воды, ни причалов, сплошное облако плыло между сопками. Небо загустело к ночи, стало ветреней, и покуда я шлёпал к общежитию – мимо вокзала, по-над верфью, – понемногу голова засвежела. И тут я вспомнил про бичей. И чуть не завыл – господи, и зачем я этот цирк затеял! «Всех приглашаю!» Видали лопуха?

А ведь эти деньги, если на то пошло, уже и не мои были. Вот я им брякнул насчёт «своей», – а ведь я правду сказал. Была девочка. И это я из-за неё решил уехать. С нею вместе уехать. Куда – не знаю, это мы ещё решим, но кто же нам на первое время поможет? Вся надежда была – в этой пачечке. А она уже вон как потоньшала – я прямо душой чувствовал, сквозь рубашку.

Я шёл как раз мимо Милицейской, где Полярный институт, и хотел уже дойти до общаги, закинуть шмотки, но посмотрел на часы – около четырёх уже, а в пять она кончает работу. Потом её кто-нибудь провожать пришьётся или в кино позовёт, в наших местах хорошую девочку скучать не заставят.

Старуха-вахтёрша кинулась ко мне, но я сказал ей:

– Мамаша, метку несусь.

А это как пароль. Метят эти учёные деятели пойманную рыбу, цепляют ей на жабры такие бляшки и выпускают, а рыбаков просят эти бляшки приносить и рассказывать – где эту рыбу снова поймали. Который год они её метят, а рыба всё та же в Атлантике и на палубу сама не лезет. Однако рубль за такую метку дают. Так что старуха меня пропустила, только велела вещички на вешалку сдать. А спросила бы – покажи метку, я бы ещё чего-нибудь придумал, на то я и матрос.

На втором этаже ходил по площадке очкарик, что-то в кулак себе шептал. Такой чудак с приветом – отрасли бородку по-северному, как у норвега, а теперь щиплет и морщится. Житья человеку нет.

– А нельзя ли, – говорю, – вызвать товарища Щетинину?

– Лилию Александровну?

– Ага, – говорю, – Александровну.

Оживился очкарик. Вот такие, наверное, и пришиваются. Чёрт-те чего он ей нашепчет, а девка и уши развесила.

– К вам, – спрашивает, – вызвать?

– Ага, к нам.

Уставился на меня с подозрением. Но я прилично держался, в сторонку дышал.

– Нельзя, – говорит, – она в лаборатории. Извините, рабочее время...

– Ну, это детали. А главное – к ней брат приехал. Из Волоколамска. Сегодня же и уезжает. И откуда у меня в башке Волоколамск взялся? Старпом у нас был из Волоколамска.

– Это вы – брат?

– Нет, что вы. Он там внизу дожидается.

– Почему же вошли вы, а не он?

– Знаете, глухая провинция. Застеснялся.

Пошёл всё-таки звать. Вот тебе и очкарик. С бородой, а не сообразит, что может парню девка просто так понадобится вдруг до зарезу. Хотя бы и в рабочее время.

Наконец она вышла, Лиля. И он за нею выглянул.

– Лиличка, я понимаю – брат, но время, к сожалению, поджимает...

Такой он был вежливый, никак не мог уйти, стучал дверьми в коридоре, а мы стояли, как дураки, молча.

Потом я спросил у неё:

– Сразу догадалась?

– Нет. Подумала – кто-нибудь из моих.

Мы стали у перил. Тишина тут, как в церкви, по всей лестнице малиновые ковры, и всюду, куда ни помотришь, картинки: какая на белом свете водится рыба и как её ловят – тралом, кошельковым неводом, дрейфтерными сетями, на приманку, на свет. Почему-то ни разу я к ней сюда не приходил. А вот «мои» – поди, уже побывали.

– Кто же они, «твои»? Что-то не рассказывала.

– Двое моих сверстников тут приехали. Из Ленинграда. Тени забытого прошлого. Завтра уходят в плаванье.

– На «Персее»?

Есть у них при институте такое научное корыто, поисково-исследовательское, больше чем на две недели не ходит.

– Нет, они не из Рыбного, это ещё школьное знакомство. Хотят на сейнере пойти, простыми матросами.

– Романтики захотелось?

– Не знаю. Может быть, просто заработать.

– Тогда б они на СРТ шли. А то все чего-то на сейнера ломаются¹⁰.

– Это я им объясняла. Но им больше нравится говорить «сейнер».

– Ладно, – говорю. – Покурим?

Никогда мне не нравилось, если девка курит, но у неё хорошо это выходило, сигарету она разминала, как парень, и когда затягивалась, голову склоняла набок, смотрела мимо меня. А я на неё поглядывал сбоку и думал – чем она может взять? Она ведь и угловатая, и ростом чуть не с меня, и жёсткая какая-то – руку пожмёт, так почувствуешь, – и бледная чересчур, по морозу пройдёт и не покраснеет, – и волосы у неё копной, как будто даже и непричёсанные. Но вот глаза хорошие, это правда, у неё первой я это заметил, а насчёт других и не помню – какие у них глаза. Вот у неё – серые. И не в том даже дело, что серые, а какие-то всегда спокойные.

¹⁰ СРТ – средний рыболовный траулер – приспособлен для дальних океанских экспедиций. Сейнер – судёнышко для местного лова, обычно – в виду берегов.

Вот я и думал: это она с другими – и угловатая, и жёсткая, а со мною – самая мягкая будет, всегда меня поймёт, и я её только один пойму.

– Вот так, Лиля...

– Да, Сенечка?

– Одни, видишь, в плавание идут. А другие... некоторые – с флота уходят.

– Совсем уходят некоторые? – поглядела искоса и улыбнулась чуть-чуть. – Много мы сегодня выпили?

– Ну, выпили. Разве плохо?

– Почему же? Для храбрости, наверное, не мешает. Курточка тоже по этому поводу?

Я к ней стоял плечом, облокотясь так небрежно на перила, как будто эта курточка была на мне год. Но перед нею-то ни к чему было выставляться. И я как-то почувствовал, не выйдет у меня сказать ей, что хотел.

– Я тебе что-нибудь должна посоветовать?

– Не должна.

– Ты ведь и раньше говорил, что уйдёшь.

– Раньше говорил, а теперь – ухожу.

– Наверное, тебе так будет лучше?

Вот бы и спросить: «А тебе?» Но какая-то немота дурацкая на меня нападала, когда я с ней говорил.

– Учиться мне, что ли, пойти? Тоже дело. – А я ещё и за минуту про это дело не думал, – Только вот куда?

– А тут я тебе и вовсе не советчица. Если даже про себя не могла решить. В своё время я это предоставила решать маме. Наши мамы не всегда же говорят глупости. Вот я никак не могла выбрать после школы – в медицинский или на журналистику. Почему-то все мои подружки шли – или туда, или туда. А мама сказала: «В Рыбный». Почему в Рыбный? «Там нет конкурса». Я бесилась, редела в подушку, хоронила себя по первой категории. А потом – ничего, успокоилась.

– И теперь не жалеешь?

– А что я, собственно, потеряла? Талантов же никаких. Обыкновенная. Как все.

Только это я от неё и слышал. «Ничего мне не надо, Сенечка. Я – как все». Да всем-то как раз и хочется: одному денег побольше и чтоб работа не пыльная, другому – чтоб ходили под ним и отдавали честь, третьему только семейное счастье подай, дальше трава не расти. А её – ну никак я не мог зацепить, ну всем довольна. Но я-то видел, как ей жилось – в чужом краю, без жилья своего, без грошей особенных, без папы с мамой, – она без них не привыкла, письма писала им чуть не каждый день.

– Что ты вдруг загрустил? – она спросила. И руку мне положила на руку. – Ну, не со мною тебе советоваться, что я в твоей жизни понимаю?

Бог ты мой, если б она знала – всё она мне уже посоветовала. Ещё когда я только увидел её. Не она бы, так я бы всё жил, как живу, и ни о чём не думал, кидал бы гроши направо-налево, путался с кем ни придётся.

– И ты ведь, главное, уже всё решил. Завидую тебе, честное слово. Чувствую твоё блаженное состояние. Может быть, это самое лучшее – не знать, что тебя ждёт впереди.

В окнах почернело, вахтёрша зажгла люстру и пригляделась: чего это мы примолкли на лестнице? А я и не сказал ещё – ради чего пришёл, не смог даже подступиться. Но впереди была «Арктика», там-то хорошо языки развязываются. Там я скажу ей – или потом, когда провожать буду: «Уедем отсюда вместе!» Вот так и брякну. Она спросит: «Куда?» А куда глаза глядят, лишь бы не спросила: «Почему вместе?» Но, наверно, что-нибудь же придёт мне в голову.

Я спросил:

– В «Арктику» не пойдёшь сегодня?

– Знаешь, мои хотят какой-то сабантуй устраивать, прощальный. У меня в комнате. Им же больше негде. Я их в наше общежитие устроила, но там такие строгости, боже мой... И ты приходи, если хочешь.

– Спасибо...

– А почему именно сегодня в «Арктику»?

– Отвальную даю.

– Так полагается по вашим морским законам? А совместить нельзя?

– Никак. Это вещи разные.

– Тогда я, пожалуй, приду. Ну, я постараюсь. А что за компания будет?

– Обыкновенная. Бичи.

– Господи, всюду только и слышишь: «бичи», «бичи», а я ни одного живого бича в глаза не видела. Ты знаешь, я, кажется, всё-таки приду. Как-нибудь отговорюсь. Фактически им же только хата нужна.

– А ты?

– Ну, и я – до определённого градуса. Но вообще-то они вроде грозились дам привести. Долго я с ними не высижу. Ты лучше не заходи за мной, я как-нибудь сама...

Тут как раз он и высунулся, очкарик. И мы притушили свои окурки.

– Лиличка, я всё понимаю, но...

– Да-да, Евгений Серафимович, куда же вы делись?

Он на меня сверкнул стёклышками, я ему сделал ручкой и скинулся по лестнице. Снизу мне слышно было, как он её допрашивал:

– Где же, простите, брат? Это он и есть?

И быстренько она ему заворковала. Это она умела – чтоб на неё не обижались.

Вахтёрша на меня заворчала – где же, мол, метка, шашни тут развели, обманывают старого человека, – а мне её жалко стало: платят с гулькин хрен, и всякая шантрапа вокруг пальца обводит. Я её погладил по голове, а она зашипела и вытолкала меня на улицу.

4

Из комнаты все разбрелись куда-то. Я повалился на койку вниз лицом, но и минуты не пролежал, как стало укачивать, и пошёл в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло: будто бы с лица не вода текла, а слёзы, и вправду мне захотелось плакать, бежать к ней обратно на Милицейскую, умолять, чтоб она непременно пришла, а то я напьюсь вусмерть с бичами, и кончится это плохо, даже и представить боюсь как. А с нею мне никто не страшен, мы посидим и уйдём от них, а завтра возьмём билеты. Колёса будут стучать, деревья полетят за окном, все в снегу... Много я ещё городил глупостей, но вот когда она мне начала отвечать, тут я и понял: всё это бред собачий. Я с нею часто так разговаривал, и немота проходила, и оказывалось – она меня с полуслова понимала, отвечала мне, как я и ждал.

Я пошёл обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу снег серебрился и чернели переплётки от оконной рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках, это значит – за полночь, в «Арктику» я опоздал, проспал всё на свете! Но кто-то, я слышу, идёт – по длинному-длинному коридору, и отчего-то я знаю: это она ко мне идёт. Мне страшно делается – нельзя же ей сюда! Они же проснутся, шуток потом таких не оберёшься... И вдруг слышу – шарк, шарк, – громадный кто-то, пятиметровый ростом, волочит свои подошвы. И ржёт по-страшному. Она от него кинулась по коридору, а за нею – с топотом, ржанием, с жуткой матерщиной, кошмарные какие-то нелюди, жеребцы, которых убивать надо! Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь, догнали, повалили, топчут сапожищами. И я хочу крикнуть ребят на помощь, один же я не спасу её, и – не могу крикнуть, меня самого завалили чем-то душным. А там её добивают, затаптывают, и

рёгот несётся конский, и вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань: «Её больше нету!.. Есть ещё?.. А вот теперь – нету!» Я забился, отодрал голову от подушки...

Господи, а это старуха-уборщица шастала метлой под тумбочками, ставила табуретки на койки ножками вверх. Она мне и удружила, простыню завернула на лицо.

– Нету! – кричит. – Нету меня тут больше – жеребцов обихаживать!

– Чего шумишь, нянечка?

Подскочила ко мне с метлой наперевес.

– Проснулся, сынок? А банки с-под сайры – это дело под тумбочки шибать? Окурки, обгрызки... Плевательницы нету? Коменданту сказала... Пускай, скажу, вас всех в умывалку переселяют. Там себе живите, там себе гадыте, а меня нету!

– Это ты неплохо придумала. Всё равно мы тут временные.

– А, временные! Ну, так и я тоже временная... Закурить не найдётся?

Я ей дал «беломорину».

– Всё! – говорит. – Ушла я на фиг!

И вправду ушла. А я полежал ещё, сердце жутко как колотилось. Совсем я стал никуда, а ведь двадцати шести ещё не стукнуло парню. Но и то спасибо, разбудила к полвосьмому.

Автобуса я не стал дожидаться – сомлеешь в толчее, и завезут к чертям на рога, куда-нибудь в Росту¹¹, – пошёл своим ходом, чтоб совсем развеяло. А возле «Арктики» уже полно было страждущих, и табличка висела: «Мест свободных нет». Но меня-то гардеробщик углядел сразу:

– Проходи, вот этот, в курточке. У него столик заказан.

Большой он был спец, даром что однорукий. Кого не надо – не пустит, нюхом определит – при деньгах ты сегодня или же на арапа рассчитываешь. И вот тоже талант у человека – никаких вам номерков, всех так помнил – кто в чём пришёл. Выходишь – пожалте вам пальтишко, и не чьё-нибудь, а ваше.

– Ко мне, – говорю ему, – особа должна подойти. Вы меня с нею видели. Каштановая, любит зелёную покраску.

Вспомнил, кивнул. Я ему подал трёшку, он её смахнул в кармашек, снял с меня шапку, отстегнул капюшон.

– С обновочкой вас!

Вот и насчёт курточки усёк, а спроси его, как меня зовут, ушами захлопает.

В зале уже надышано было, накурено, хоть топор вешай. На эстраде четыре чудака старались: скрипка, два саксофона и баян, – снабжали музыкой. Но не качественной, а так себе, «Во поле берёзонька стояла». Бичи мои сидели в углу, держали сдвоенный столик, как долговременную огневую точку, – хоть потёртые, но прикостюмленные, Вовчик даже галстук надел. С ними – Вовчикова Лидка трёхручьевская и Клавка. Ну, Лидка, скажу вам, очень была не подарок – жилистая и злющая, видать, или просто нервная: всё щипала свой перманент и глазки на лоб заводила. А Клавка – та королевой сидела, кофта на ней широкая, голубая, с перламутровыми пуговками, в ушах золотые серёжки покачивались, и вся-то она розовая была, вся лоснилась и платочком обмахивалась сложенным, вместо веера.

Бичи мне замахали, и я уже было двинулся к ним, когда вдруг увидел «деда»¹².

«Дед» сидел один за столиком – и, верно, давно уже сидел, китель был расстёгнут на три пугови. Рядом ещё стоял стул, но прислонённый, – «дед» кого-то ждал или просто не хотел, чтоб подсаживались. Заметно он сдал за то время, что мы не виделись, морщины прорезались глубже и мешочки обозначились под глазами. Но плечи ещё были прежние, в порядке плечики, только обвисли немного.

¹¹ Северная окраина Мурманска.

¹² «Дед» – старший механик на судне.

«Дед» меня тоже увидел и не сказал мне ни «здравствуй», ни «салют», а выволок второй стул и улыбнулся.

– Присаживайся, Алексеич. Откуда такой красивый?

Так он меня звал – Алексеичем, как будто я был старпом или хотя бы третий штурман. Тут же и официантка подскочила, как по вызову для начальства.

– Маленькая, – сказал ей «дед», – нам повторить бы. Граммчиков триста. А чтоб совсем хорошо – четыреста. И один прибор Алексеичу. А заказывать он ещё не научился, я сам закажу, мне же и запишешь.

Меню он поднёс почти к глазам и стал шарить пальцем.

– «Дед»... Понимаешь, я тут с компанией.

Я ему показал на бичей, «Дед» на них поглядел сурово и покривился.

– Это они тебе компания?

Официантка тоже покривилась. Я засмеялся – отчего-то всегда бичей узнают, хотя и прикостюмленных.

– Затралил нечаянно, пришлось пригласить.

– Выхода, значит, нет никакого? Ну, закажи им там, только не очень, не очень шикай, и приходи сюда. Мы ведь с тобой полгода не виделись.

– Больше, «дед». Восемь месяцев.

Я сходил к бичам – сказать, чтоб заказывали себе чего хотят, а счёт бы прислали. И чтоб держали два места, как договаривались. Клавке это не понравилось, но плевать мне было, она с Аскольдом пришла, вот пусть и будет весь вечер Аскольдова.

Когда я вернулся к «деду», официантка ему принесла коньяк в графинчике, и «дед» его сразу весь разлил по фужерам.

– Начнём – за твой приход, Алексеич. Когда пришёл?

– Восьмого дня.

Я тут же язык прикусил: как же так вышло, что я с ним не повидался?

– А я вот завтра отчаливаю. Ну, ты не красней, меня обнаружить трудненько было. Полмесяца, с утра до ночи, на Абрам-мысу пропадал. В плавдоке стояли.

– Почему в доке, «дед»?

– Заплату пришивали на корпусе. Вот за неё тоже.

Он первый отпил, понюхал ладонь и зарычал. А мне протянул на вилке лимончик.

– Ты на каком теперь, «дед»?

– Восемьсот пятнадцатый, «Скакун».

Раньше мы вместе плавали на «Орфее», потом «дед» прихворнул, а я с кепом поругался, – не помню уже, на какую тему, – и разошлись мы на разные пароходы¹³.

– Что ж это делается? – сказал я «деду». – Нам же твой «Скакун» сети передавал в Северном, когда вы с промысла уходили. А я и не знал, что ты на нём.

– Помнится, передавали кому-то сети... Ну, где ж знать? Я даже на палубу не вышел. Так бы хоть перекрикнулись.

– А заплата – какая? Есть о чём говорить?

– Да повыше ватерлинии. Но длинная, на две шпации. Всё ржавчина съела.

– Но хоть заварили как следует? Принял Регистр?¹⁴

«Дед» усмехнулся.

¹³ Траулеры, конечно, не пароходы, на них стоят дизели, но так их называют моряки.

¹⁴ Морской Регистр (также и Речной) – ведаёт страхованием судов. Эксперты Регистра оценивают качество ремонта и годность судна к плаванию, выдают (или не выдают) разрешение на выход из порта.

– Тебя что больше интересует – как заварили или как приняли? Свидетельство – имеем. Прикроемся им, когда потечёт, больше-то на что надеяться? Там уж – ни ангел не явится, ни чайка не прилетит.

Мне неприятно было, что он так шутит. Знал я, как это делается. Являются три субъекта на судно, щупают заплату пальчиками и морщатся, и все их стараются побыстрее в каюту проводить, выставить им спирту или трёхзвёздного. Но только у «деда» это не в обычае было. Всё-таки здорово он сдал, наверно. Раньше он капитанам головы отвинчивал, а судно у него из порта выходило, как со стапеля.

– Давай, «дед», ещё за твою заплату...

– Давай, – он потрепал меня по волосам и успокоил: – Да там хоть всю обшивку меняй, один чёрт...

Нет, он ещё в силе был. Ведь хорошо уже нагрузился – и ни в одном глазу, другой бы уже под столиком Васю вспоминал. Я смотрел на «деда» – он оживился, вроде бы помолодел, оттого что встретил меня; я ведь знал, что он меня любит, и я его тоже любил, – и вот я думал: как же я скажу ему про своё решение? А «деду» я должен был сказать.

– Ну, а ты как, Алексеич? Месячишко погуляешь?

– Может, и больше.

– Больше-то смысла нет. Если бы летом...

– Нет уж, до лета я не дотяну.

«Дед» поглядел подозрительно.

– Ты что-то виляешь. Раньше ты со мной не вилял.

– И теперь нет. Просто я на берег списываюсь.

– Надолго?

– Не знаю. Покамест – насовсем.

«Дед» ничего не сказал, разглядывал свой фужер.

– Сказать по совести, хватит мне. Я в армии наплавался¹⁵, три года протрубил, и тут столько же. Посуху и ходить разучусь, всё палуба да палуба. А жизнь – она тоже проходит.

– Н-да, – «дед» вздохнул. Потом улыбнулся, как будто чего-то вспомнил. – А что, Алексеич, может, вместе ещё поплаваем?

– С тобой-то – я б не отказался.

– А вот завтра и поплывём.

Я замотал головой. Ничего-то он не понял.

– В другой раз, «дед».

– Другого раза не будет. На пенсию меня уведут, под белы руки.

– Тебя на пенсию? Ты шутишь!

– Почему ж не пошутить? Раз ты тоже шутишь. А если по правде, то мне уже нормальную комиссию-то не пройти.

– Ну, знаешь, «дед»... Наверно, все мы, сельдяные, на пенсию уйдём, а ты останешься.

– Так вот, Алексеич. Команда, я слышал, недобрана, жожакового не хватает в роли. Я почему знаю – дрифтер с помощником сами жожак укладывали в трюме. Вот ты и пойдёшь жожаковым. Это я с капитаном обговарю.

Я подумал – наверное, не сахар ему на этом чёртовом «Скакуне». Когда уже вся команда знает, что ты последнюю экспедицию плаваешь.

– «Дед», мы ведь не навек расстанемся. Ты иди и возвращайся. И чтобы с тобой ничего такого не приключилось.

«Дед» вдруг насупился, опустил взгляд. Я-то не заметил, как они подошли, эти двое. А они у меня за плечом стояли: один – Граков, персона, всей добычи начальник, «сельдяной бог»,

¹⁵ Армией моряки называют и военный флот.

а второй – бывший мой кеп; ну, скажем, один из бывших, у меня их там штук семь перебыло; тоже личность знаменитая в своё время, а теперь – из его прилипал.

Они к своему столику проходили забронированному, и как бы призадержались невзначай.

– Что же это с Сергей Андреичем-то может приключиться? – Голос у Гракова был весёлый, но как бы и озабоченный. – Привет тебе, Сергей Андреич.

«Дед» чего-то буркнул в ответ, я и то не расслышал.

– А кстати, как у тебя с восемьсот пятнадцатым? Отчалите завтра? Ты извини, я, может, не к месту...

– Да уж такие мы люди, – сказал «дед», – на службе про футбол говорим, на футболе – службу вспоминаем.

– Чего, чего? Это ты интересно!..

Граков на шагок поближе к нам пододвинулся. А прилипала его просто заклокотал от восторга, даже залысинки у него посветлели.

– Надо бы наоборот, – сказал «дед», – но не можем.

– Не можем, это точно! – тут же опять он сделался озабоченный, Граков. – Но мне докладывали: там вроде всё зализано.

– Ну, раз докладывали...

– Да я ведь и тебя немножко знаю, за тобой проверять не нужно. Ну, одну экспедицию ещё попрыгает «Скакунишко» твой, а там и на слом, а?..

– На слом, – сказал «дед».

Больше им, вроде, и говорить было не о чем. Но Граков вокруг себя пошарил глазками, и прилипала мигом куда-то шастнул – не иначе за стульями. А мы их и не приглашали, прошу заметить.

– И нас самих, наверное, на слом? Как думаешь?

«Дед» насчёт этого ничего не думал.

– Значит, последний вечерок сидишь?

– Значит, так.

А точно – прилипала уже стулья тащил. А за ним официантка – с бутылкой «Арарата». Для Гракова тут специально держали, другого он ничего не пил. Она было начала распечатывать, но прилипала у ней перехватил бутылку.

– Нет уж, это уж нам дайте.

И вышиб пробку ладонью. У него это красочно получилось – покрутил, покрутил и вышиб. Подал бутылку Гракову. А тот уселся – но не прямо к столику, а чуть боком, – и помаhal бутылкой: кому бы налить первому.

«Дед» свой фужер прикрыл ладонью: у него, мол, налито до половины.

– Марочного? – Граков удивился.

– Тем более, мешать не стоит.

– Тогда, с твоего разрешения, бича захмелим.

И долил мне. Быстренько, я и не успел свой фужер прикрыть. Ну, и духу не хватило, если по правде. Он-то всё-таки бог. Я ему только сказал:

– Промыслового, прошу не путать.

– Кто же в этом сомневается? – засмеялся мой бог, даже руку мне на плечо положил. Даже прилипала, который как раз себе наливал, поглядел на меня ласково. Забыл уж, поди, как в своё время орал на меня в рубке. – А дерзкая молодёжь пошла, языкастая!

Прилипала уже не ласково на меня смотрел, а недовольно.

– Чем же дерзкая? – сказал «дед». – Просто достоинство имеет.

– Ну да, ну да. Достоинство в первую очередь. Потом уже к старшим уважение.

Официантка стояла, не уходила, Граков поворотился к ней и пальцем показал на столик. Колечко описал. Мол, это всё на меня запиши.

Но тут случился один момент. «Дед» покряхтел и сказал:

– Ну... Мы-то уж тут давно сидим.

Это надо вам объяснить, все эти тонкости. В «Арктике» за себя по отдельности не платят. Если моряцкая компания сидит, то каждый спешит первым за всех выложить. Ну, если уж все разом выложили, то официантка решает, с кого брать. Но когда уже вместе посидели, а платят врозь – это враги, это обида. А мы как-никак, но посидели.

Граков чуть не испариной покрылся. Но недаром же он прилипалу при себе держал. Прилипала-то и спас положение:

– Дмитрий Родионович имел в виду нам двоим чего-нибудь под коньячок. Салатик там фирменный или что... А горячее – на наш столик потом, мы туда перейдём.

Она записала и отошла.

– Ну, а... выпить за тебя – разрешишь? – спросил Граков.

Я поглядел на «деда». Он на меня. Он взял свой фужер. Я тоже свой взял.

Прилипала, тот просто ел своего Родионича – глазки его медвежьи, носик кнопкой, губки, всегда поджатые. Но весь вид такой, как будто он сейчас самое важное скажет. Ну такое, до чего тебе в жизни не додуматься, и от отца с матерью не услышать, и в книжках не прочесть.

– Сергей Андреич... Во-первых, семь футов тебе под килем. Это – прими, пожалуйста. Это искренне.

«Дед» кивнул. У прилипалы сразу лоб посветлел.

– А во-вторых... Ну, не в каменном же веке мы живём! Про что я – ты знаешь. Пойми, все мы люди, все можем ошибиться, не казнить же нас за это по двадцать лет. Ах, кержак ты эдакий, ископаемый человек! Ведь пора уже кое-что и пересмотреть. Время-то, время какое было. Вот молодость сидит, разве она себе может представить, какое было время?..

Прилипала то на «деда» смотрел, то на Гракова. И такая у него на лице печаль была – ну действительно, не казнить же, ну бросьте вы ваши счёты, ну хоть обнялись бы... А «дед» молчал и супился. Граков ему руку на руку положил, «дед», я видел, страдал от этого, но руку не убирал.

Я поглядел по сторонам – никто на нас не смотрел, – и «дед» поглядел на меня, понял, что никто не смотрит, и ему стало легче.

– Слушай-ка, Родионич, – сказал «дед». – Для чего ты это начал? Я ведь тебе никаких обид не высказываю. Ну, было, ну, прошло. Только вот пить за что, всё я в толк не возьму?

Граков опять вокруг себя пошарил глазками.

– Что ж она нам не несёт? Хоть минеральненькой – запить...

Прилипала вскочил, шастнул между столиками.

– А это мы сейчас сформулируем. – Граков золотой улыбкой заблестел. – Как я понимаю, ты последний год плаваешь. А ведь грустно это. Разве нет?

– Кому грустно? Тебе?

– Флоту, Сергей Андреич. Флот без тебя осиротеет.

– Так уж прямо осиротеет.

– Сергей Андреич, цену себе надо знать. Ты ещё много можешь флоту дать, молодым. Такой механик! Могут с тобой нынешние «деды» равняться? Нынешние, двадцатипятилетние? Вот и не хочется мне тебя с флота отпускать на пенсию. Ой, как не хочется!

Прилипала тем временем воду принёс, вскрыл её вилкой, забулькал по всем фужерам.

– Как, Игнатич, не отпустим мы Бабилова с флота?

– Нельзя, Дмитрий Родионович, нельзя-а!

– Вот и я думаю. – Граков уж всю ладонь «дедову» в обеих руках держал. – Ты, верно, по зрению на траулерах не можешь находиться?

– Ну, – сказал «дед». – Ты уже в курсе.

– А если – групповым механиком? Как? Правая моя рука будешь, по технической части. Целый отряд у тебя под началом, двенадцать, пятнадцать судов. Нахождение – на плавбазе, каюта – люкс. Трудненько ведь в твои годы на СРТ, покоя хочется, комфорта. Власти, если на то пошло. Как, сформулировали тостик? За группового механика Бабилова, Сергей Андрейча!

– Да, – сказал «дед», – соблазнительно. Но ты погоди.

– Ну-ну, что тебя волнует?

– А вот, если я твоя правая рука буду, ты меня за минеральненькой – тоже пошлешь?

Мне на прилипалу не хотелось смотреть, на бывшего моего кепы. И всё ж я видел, как он вспотел даже, а улыбаться не перестал. А мужик – вида наигвардейского, такому б как раз на параде полковое знамя нести, рапорт почётного караула отдавать. Ужас, что можно с человеком сделать!

– При чём тут это? – Граков нахмурился. – Я серьёзно с тобой.

– Хочется мне наперёд мои обязанности знать. Своё место. Может, и прогадаю по глупости. – «Дед» убрал свою руку, поглядел на прилипалу в упор. – Скажи-ка мне, Игнатич, ты по мостику не скучаешь?

Представьте себе, он смотрел на «деда» и улыбался.

– Ну, а я, – сказал «дед», – без моей вонючей шахты помру, наверно. Так меня из люкса ногами вперёд и вынесут. Что же ты, Родионыч, смерти моей захотел?

Граков улыбнулся через силу.

– Не вышел тостик?

– Этот нет, – сказал «дед», – ты что-нибудь другое придумай. Тогда и приходи.

Граков отставил свой коньяк, поднялся. Прилипала тоже вскочил. Он теперь и не знал, улыбаться ему или хмуриться. «Дед» напомнил:

– Марочный не забудьте.

– Жаль, – сказал Граков. – Не понял ты меня, Сергей Андреевич. Я к тебе с чистыми намерениями. А ты всё же камень за пазухой таишь. Что и доказал сейчас наглядно.

И вдруг он знает чего сделал? Наклонился к «деду» – низко-низко, обнял за плечи и сказал, так задушевно:

– Ну, ладно, ещё потолкуем. Сейчас ты, конечно, не в том состоянии...

Я поглядел, как они уходят. Коньяк свой они, конечно, нам оставили. Не такие дураки – с бутылкой через всю залу переть. Но я ошибся, что никто на нас не смотрит. Вся «Арктика» теперь глядела им вслед. И вся «Арктика» видела, как Граков обнимался с «дедом»... Мне странно вдруг показалось – а было это всё на самом деле? Ведь не могло же быть! Но тут у меня в башке, наверно, стало туманиться. Я повернулся к «деду» – он себе отрезал мяса и прожёвывал медленно, зубы у него были плохие, у всех у нас такие из-за нашей воды, и мне отчего-то жалко было на него смотреть.

– «Дед», а ведь он своего добился. Как же ты позволил?

Он взглянул хмуро и пододвинул мне фужер.

– Вот это допей и, пожалуй, хватит тебе сегодня.

– Скажи, а почему ты один сидишь в «Арктике»? К тебе ведь при нём не всякий подсядет.

– Я с тобой сижу, Алексеич. А глупости будешь пороть – рассядемся. Уяснил?

– Ладно, – я кивнул. – Ты посидишь ещё?

– Минут десять, не больше.

– Почему так спешишь?

– А как раз Ненила Васильевна мои вещички собрала, сидит теперь скучает. Надо же и с ней напоследок посидеть.

– Понимаешь, ко мне одна девка придёт. Просила, чтоб я с тобой познакомил.

«Дед» улыбнулся.

– Что-то давно они насчёт этого не просят.

– Ну, не просила, я сам хочу. Подождёшь?

Я пошёл в вестибюль. Гардеробщик уже и двери заложил жердиной, а сам в окошко смотрел на улицу.

– Не подошли. Напрасно беспокоитесь, я не ошибусь.

Я ему хотел дать трёшку.

– Вот это лишнее. Я ещё ту не отработал. И пожалте в залу.

Те чудачки на эстраде уже качались в тумане, а всё старались – как будто их кто-нибудь слушал. Гомон стоял, как на базаре. «Дед» уже расплачивался с официанткой, вручил ей «Ара-рат» и туда показал, на граковский столик. Она покивала, однако не понесла, спрятала в шкафчик.

– Опаздывает? – спросил «дед».

– Марафет наводит. У них это долго.

– Нет, – я повалился на стул. – Вообще не придёт.

– Почему знаешь?

– Потому что сука...

– Ну, ты совсем хорош! Может, ей со мной знакомиться расхотелось. – «Дед» поглядел на часы. – На воздух со мной не выйдешь?

– Посижу ещё. – Жутко мне стыдно было перед «дедом»; зачем я её так назвал? – Дождусь всё-таки. Ничего, я в порядке. Правду говорю, в порядке.

– Да не ругайся с нею, обещаешь?

Я обещал. Мы допили – за тех, кто в море, – «дед» застегнул китель, поднялся, аккуратно задвинул стул.

– Завтра на причал приходи, попрощаемся.

Я ему пожал руку – обеими своими, как будто навсегда мы прощались, и смотрел, как он идёт к выходу. «Дед» был тяжёлый, а между столами тесно, но он никого не задел. Потом я повернулся и сидел как очумелый, глядел в тот угол, на Гракова, ему в затылок. Ладно, думаю, ты у меня попомнишь. Я не человек буду, если ты у меня не попомнишь.

Я услышал: официантка убирает посуду.

– Принеси, – сказал я ей, – ещё полтора ста.

– Ничего тебе больше не принесу.

– Думаешь, без денег сижу? Могу показать. – Я расстегнул молнию на куртке и нащупал пачку. – Видишь, я в море уродуюсь... И все вы у меня в ногах должны валяться!

– Поваляюсь, а не принесу. Больше тебе не велено.

– Кто не велел?

– А с кем ты тут сидел. Забыл уже. Напиток могу принести, «Освежающий».

– Неси во-он тому борову. Видишь, лысина светится.

– Дурачок ты, – она говорит. – Ты потише, зачем тебе пятнадцать суток сидеть?

Взяла мою руку с деньгами, сунула мне же за пазуху, в карман. Тут крепких баб держат, в «Арктике». И не зря – драться же с ними не станешь, а выставить, если надо, выставят.

Потом вся зала как-то повернулась – с люстрами, с дымом, с музыкой, – и я уже с бичами сидел, попивал из чьего-то фужера. Всё бы ничего, да эта дура трёхручьевская всё перманент свой щипала и бровки супила – с таким это ко мне презрением, меня зло разобрало.

– Чего ты всё щиплешься? – спрашиваю. – Гляди, облысеешь. И так они у тебя, поди, на трёх бигудях помещаются.

– Фу, – говорит, – до чего я пьяных не выношу!

– Милочка, оно же и лучше, что я выпимши. Буду я трезвый – ты же у меня за Софи Лорен не сойдёшь. А так – пожалуйста.

Что-то недопоняла она, но плечью передёрнула.

– Какая я тебе «милочка»!

– Милочка у него другая, – Клавка ей говорит. Как раз она напротив меня сидела, обмахивалась платочком, улыбалась во всё лицо. – Вот он по ней-то и страдает, а нам достаётся ни за что, ни про что. Вообще-то она ему верная, только сегодня чего-то подвела.

– Глупости, – говорю, – моя верная никогда не подведёт!

– А то мы не видим? Он тут со старичками беседует, а нет-нет в вестибюль сбегает: может, всё-таки сжалилась, пришла.

– Вот те на, со «старичками»! Да какой же он старичок? Ты ж не знаешь, что ему пережить пришлось... Он и сейчас твоего пучеглазого одним пальцем уложит, а в своё время одиннадцать миль проплыл. Знаешь, что это такое – одиннадцать миль?

Клавка рукой махнула и засмеялась.

– Ну, пошли мили-шмили...

И я тоже стал смеяться. Не знаю почему. Ничего она такого не сказала смешного.

– А прогадал ты, рыженький, – говорит мне Клавка. – Меня пригласил, а сам в сторону.

Удивляюсь, чем я тебе не угодила. Не хороша для тебя?

– Слишком, – говорю, – хороша.

– А хочется, чтоб у тебя такая была?

– Не-ет, – смеюсь, – от тебя лучше подальше. У меня таких экипаж был, с меня хватит. Вовчикова трёхручьевская фыркнула, а Клавка ничего, не обиделась.

– Ну, и напугали же его! – говорит. – Да ты меня рассмотрел хоть? Чем я такая страшная?

– Ты из мужиков чёрт-те что делаешь, не людей.

– Пока что твоя из тебя сделала. Взяла да не пришла. И правильно не пришла, с такими только так!

Вовчикова трёхручьевская сморщилась, как будто лимон разжевала.

– Не тронь ты, – говорит, – его самолюбие. Видишь, в каком он состоянии.

И с такой это жалостью на меня уставилась, – ну, совсем я погибший во цвете лет. А глаза у ней – как у мыши, близко посаженные, меня даже замутило слегка. И тоска вдруг напала жуткая, волчья. Вот она, моя жизнь: с такими корешами сидеть, с такими девками. Слова живого от них не дождёшься. «Самолюбие», «состояние»! Ах ты, инкассаторша чёртова. Нечуева, что ли, у ней фамилия?

– Нечуева, – говорю ей ласково, – не чужь ты души моей переливы.

– Остроумно! – шипит. И откуда злости в ней столько, и на кого – ума не приложишь.

– Показал бы я тебе одну женщину – так ты же удавишься, оттого что такие бывают.

Клавка опять засмеялась.

– Ну, сбегай за ней, приведи. Мне ж тоже интересно. Одним бы глазом взглянуть, как ты с ней управляешься.

В вестибюле ко мне гардеробщик кинулся – отирать меня от дверей, я его оттолкнул шага на три, подёргал дверь, а она ведь жердиной заложена, стал её вытаскивать и чувствую – кто-то у меня на плечах повис.

– Отстань, гад однорукый!

А это вовсе и не гардеробщик – меня двумя руками держал. Это, оказывается, Аскольд за мной выскочил.

– Чего тебе, филин пучеглазый?

– Как то есть «чего»? – и губища-то, губища распустил. – Ты же уходишь, а нам счёт принесут.

– Я сказал – приду.

– А это ещё неизвестно, Сеня.

– Ах, кисонька! Напугался? На тебе на лапу, за мной не заржавеет, ступай к своей Клавке, вермуту ей закажи!..

– А торту? Лидка торту хочет бизейного.

Я ему совал пятёрками, ронял при этом, а он подбирал, присчитывал бумажка к бумажке. Гардеробщик, хмурый, стоял сбоку, поглядывал – сколько он у меня берёт.

– Те-те-те, – говорит, – я свидетель.

Аскольд ему показал, сколько взято, остальное они мне сунули в карман. Гардеробщик напялил мне шапку, из-под стойки чего-то достал и мне запихнул за пазуху.

– Капюшон свой не потеряйте.

Мне плакать хотелось, что я его так обидел.

– Прости, отец. Давай поцелуемся.

– Идите, – говорит, – к чертям свинячьим. И не безобразничайте.

Вытащил наконец дурацкую эту жердину, и я, на него не глядя, прошёл на улицу.

5

Одиннадцать миль «дед» проплыл ещё молодым, в осень сорок первого года.

В те времена он ещё не рыбачил, а служил мотористом – «мотылем» – на транспорте «Днепр»; как раз перед войной этого «Днепра» спустили, и считался он – гордость флота: из первых дизельных, дизеля-то у нас ещё в новинку были на судах. В войну его приспособили возить боеприпасы, питание гарнизону, а вывозить – раненых. Конвой ему не полагался, да и не было чем конвоировать; когда из порта шли – одна надежда на кресты милосердия, когда в порт – расчехляли два пулемёта на мостике. Ну, и винтари были, конечно, – образца девяносто первого дробь тридцатого года.

Несколько раз им сошло, отбились от самолётов. Но как-то, часа за четыре ходу до Кильдина-острова, всплыла рядом с ними подлодка и подала им сигнал – следовать за ней к Нордкапу¹⁶. «Геен зи битте нах плен, рус Иван!» – или вроде этого сказали им немцы в «матюгальничек», – ну, то есть в мегафон, значит, – а капитан на «Днепре» был мужик горячий, с Кавказа, он это не перенёс, велел развернуть пулемёты и врезать немчуре по очкам. Те ему на это – из орудия пару зажигательных и устроили на «Днепре» пожар. А тушить не давали, обстреливали, зажигали снова. Так что кеп уже не пожарную тревогу пробил, а – шлюпочную. А перед тем, как покинуть судно, он спохватился, что «Днепр»-то ещё на плаву, потушат немцы пожар своими средствами, да и утащат гордость флота за собой в Германию. Тогда он и сказал «деду» – то есть не «деду» ещё, а мотылю: «Надо открыть кингстон». – «Сделаю, – мотыль ответил, – сходи в шлюпку, Ашотыч». Кеп ему показал на далёкий берег: «Доплывёшь с нагрудником?» – «Доплыть не обещаю. А меня не дожидайся».

Это он потому сказал, что Ашотычу полагалось сойти последним. Но «деду» он был не нужен, «дед» бы и за пятерых справился. Так что Ашотыч за кингстон был спокоен и сошёл в шлюпку. А «дед» ушёл к своим дизелям.

Многие думают, что кингстон открыть просто, будто бы есть такой специальный рычаг для затопления судна. Никто, конечно, таких рычагов не ставит, всё на судне делается, чтоб плавать, а не тонуть, а через кингстон забортная вода идёт к двигателю на охлаждение, и нужно ещё там крышки какие-то отвинчивать. Так что минут сорок прошло, и за это время команды уже не стало. Ашотыч велел – идти шлюпками «враздрай» и отстреливаться из винтовок: плена-то ведь боялись больше, чем смерти, и тут ещё робкая надежда была, что покуда немцы с одной шлюпкой провозятся, другая как-нибудь затеряется среди зыбей. А немцы за двумя зайцами и не стали гнаться, они на одну шлюпку положили снаряд и размолотили в кашу, а

¹⁶ Мыс Нордкап – самая северная точка материка Европы. Проходящий через него меридиан разделяет моря Баренцево и Норвежское, а также и океаны – Северный Ледовитый и Атлантический.

другую преследовали, пока там не кончились патроны, потом подошли спокойно, подцепили багром и всех перетащили к себе на палубу.

Когда «дед» поднялся из машины, лодка уходила на погружение, и «Днепр» тоже погружался, а больше на море живой души не было. Ему только и оставалось, что плыть с нагрудником к берегу. Это одиннадцать миль, не меньше, потом это место установили точно по вахтенному журналу с подлодки. Но «дед» всё-таки доплыл до берега, только вот берег был – маленький островишко, он лишь на морских картах и обозначен. А до материка ещё было миль двадцать – где же силы взять? «Дед» на другие сутки попробовал, проплыл мило и вернулся – стал замерзать. Больше не пытался.

Почти месяц прожил он на этом островишке – без хлеба, без огня, без кровли над головой. Он уже радовался, что дожди пошли: содрал брезент с нагрудника и собирал пресную воду. «Всё ничего, – он мне рассказывал, – а вот без курева было скучновато. Помру, думаю». Наконец его засёк наш самолёт-разведчик, но сесть нельзя было, лётчик ему только банку со сгущённым молоком кинул. И та – об скалу разбилась, «дед» потом эту сгущёнку слизывал. Тогда, конечно, не до робинзонов было: ещё трое суток прошло, пока прислали гидросамолёт и сняли «деда» с утёса. Первые дни он и говорить не мог, его в госпитале кормили с ложечки, потом ожил, рассказал, как погиб «Днепр» и вся его команда тоже. Он-то думал – они все погибли. И пришлось ему – хуже нельзя, потому что к нему в госпиталь матери приходили, жёны, и каждой расскажи: как погиб Вася, что перед смертью сказал Коля, – а что он мог сказать?

Я вот часто думаю: если бы он наплёл чего-нибудь с три короба – как вели бой с неравными силами, как он закрыл глаза капитану, как там кто-нибудь, *истекая кровью*, сказал ему в час прощальный: «Пльиви, Серёга, родной земле передай весточку!» – всё бы, может, и обошлось. А он только одно твердил: «Ушёл в машину, слышал перестрелку, больше ничего не знаю». И тут один человек из штаба порта выразил сомнение: «А так ли всё было, как травит наш уважаемый мотыль Бабилов? Не странно ли, что капитан, которого все мы знали, как настоящего моряка, партийца, покинул судно не последним. А последним – почему-то моторист... Не исключено, между прочим, что немцы же его и подбросили на этот островок. Скажем, он мог дать подписку, что, вернувшись к нам в гарнизон... Я ничего не утверждаю, я только прошу заметить – не исключено».

«Дед» все допросы прошёл, – каких нам, наверно, не выдержать, – и ничего против него не доказали. Под расстрел не попал. Но загредел хорошо – на полный червонец, да полстолька же и ссылки ему добавили – «подозрение в шпионаже», не баран чихал. В конце войны разыскался в немецком концлагере Ашотыч и ещё пяток из команды, рассказали следователю, как всё было с «Днепром», как мотыль Бабилов пошёл открыть кингстон и суровая волна поглотила славного героя. Да им тогда и самим веры не было, потому что все они шестеро ехали в те же места, что и «дед», и всю эту историю ещё на восемь лет забыли. А вспомнили, когда нашёлся в архивах вахтенный журнал с той самой подлодки, – ну, он-то, положим, давно нашёлся, да не знали, как его к «деду» применить. Выпустить – не посадить, тут думать надо. Так вот, в этом журнале всё по минутам было расписано, как по нотам:

11:15. Русский транспорт охвачен пожаром. Команда пересаживается в шлюпки. Однако моими наблюдателями замечен на палубе смертник, оставленный, чтобы способствовать затоплению судна.

12:00. Русский транспорт погружается. Подобрал восьмерых уцелевших из его экипажа и опасаясь, что дым привлечёт русские самолёты, сам начал погружение. Ухожу подводным курсом к Нордкапу.

Что вы, про «деда» целая книжка написана! Журналист из Москвы приезжал, часов пять с ним беседовал, потом прислал экземплярчик. Про лагерь там, правда, вылетело, но насчёт

пожара и про жизнь «дедово» на островишке – это всё есть, и очень даже красочно, «дед» со старухой как ни прочтут – плачут.

А я вот что спросил у «деда»:

– И как же вы с ним теперь? По крайности, рыла ему не начистишь?

– Кому, Алексеич?

– Ну, кто тебе всё это устроил.

Он удивился.

– Это зачем? Он своим рылом начищенным ещё и похвалиться побежит: за бдительность ему досталось. Я-то его знаю. И всё ведь другие устраивали, он только сомнение высказал. Ну, время не такое было, чтоб сомневаться. А ты – поверил бы?

– Тебе?

– Что человек в нашей воде осенью столько проплывёт и сердце у него не лопнет?

– За это, честно скажу, не ручаюсь.

– То-то вот! – сказал «дед». – И я б не поручился. Потому что второй бы раз не проплыл.

6

Я шёл по снегу, он аж звенел, и мороз мне палил лицо. Капюшон я не стал пристёгивать, ведь это куртку надо снимать и перчатки, так и замерзают по дурости. У нас один чудик, бухой, портянки затеял на улице перематывать, и – заснул на морозе, устал, а после ему полноги отрезали. Я только нос в воротник упрятал и чуть не по полквартила с закрытыми глазами шёл. А мог бы и всю дорогу так и не сбился бы.

Это в большом-большом дворе, на Володарской, пройти под аркой и сразу налево, угловое окошко на четвёртом этаже, там она снимала комнату. Там я бывал – четыре раза, там все вещи чужие, её – только накидка на кровати, коврик, финтифлюшки на столике, а всё-таки думаешь – она век здесь живёт. «Главное – ничего не хотеть, – она мне говорила, – тогда ты ещё хоть как-то счастлив. Сегодня это моё, а завтра, может быть, нас и не будет».

Окошко светилось.

Я постоял внизу, – нельзя же к ней сразу, пусть немного развеет, – и увидел: кто-то подошёл к окну, она подошла, смотрит на двор. А кругом бело, ни скамейки, ни кустика, один я чернею. Нет, не заметила, повернулась туда, в комнату, я только волосы видел, тёмную копну, и вот она отошла.

Парень какой-то подошёл, повернулся затылком, взлез на подоконник, к нему второй подошёл. Разглядеть я их не мог, высоко было, но как будто они там смеялись. Почему бы не посмеяться, если тепло, и выпивка на столе, и кадровая девка рядом, и она им рассказывает, как я её приглашал в «Арктику», а она вот не пошла, с ними осталась. Господи, думаю, ну и не пошла, свет клином на тебе не сошёлся, только врать было зачем? У меня была Нинка, посудомойка с плавбазы, я с ней морскую любовь имел – и в плавании, и на берегу, держал себя с нею по-свински, месяцами не заявлялся, и всё же она со мной таких фортелей не выкидывала. А попробовала бы выкинуть, я бы ушёл, не оглядываясь. Потому что вот так и делают из тебя не человека.

Вдруг я заметил: стою, как дурак, и считаю этажи. Снизу вверх, потом сверху вниз. А зачем, я подумал, я их считаю? Ну, правильно, мне же надо как-то наверх взобраться! А что я там понаделаю – видно будет, главное – взойти туда. Но только я к подъезду направился, из него какой-то мужик вышел – в чёрном, лица не видно. Ступил два шага и заскучал, с места не сдвинется. Ему-то, думаю, чего меня бояться? А это, поди, его «Москвич» под окнами стоял, под брезентом, так он решил – я угонять собираюсь или колёса снимать. Чего-нибудь бы повеселее придумал!

– Ступай, – говорю ему, – спи, дядя. Не нужны мне твои колёса.

Он куда-то метнулся вбок и опять стоит. Совсем пропащий человек.

– Ты кто? – спрашивает. Голос, как из бочки. – Откуда взялся?

– Туда же и уйду. А ты спи.

Не хотелось мне этого олуха тревожить. Ведь до утра будет своего «Москвичишку» стеречь, замёрзнет. Или работу проспит, нагоняй получит. Я уже на улицу вышел, а он под аркой встал и смотрит. Печальный такой и скучный. Пропади ты, думаю, со своими колёсами. И вы там тоже все пропадите с вашим сабантуем, уйду я, откуда взялся, вот это верно сказано.

Конца не было у этой улицы, я шёл-шёл и почувствовал – худо дело. До какого-нибудь бы тепла теперь до-шлёпать – до общаги или до «Арктики». Но я от общаги как раз иду, зачем же я лишнего протопал, а в «Арктике» бичи сидят, и Клавка будет смеяться. «А что я говорила, рыженький! Не пошла она с тобой?» – «Ну и не пошла, – говорю, – очень она мне нужна! И ты мне тоже, стерва розовая, гладкая, пушистая, не нужна, лучше я к Нинке поеду, у неё тепло, у Нинки, она меня спать положит и не ограбит, она добрая, Нинка, она за мной всегда смотрела, не то что другие, которым только деньги давай, у нас с ней любовь, с Нинкой...»

Ну, вот я и до морского вокзала добрался, откуда идут катера через залив; ввалился весь деревянный, насили кулаки из карманов вытащил. В помещении было жарко от печки, накурено, и людей набилось до тыщи – кто в доки ехал в ночную вахту, кто с работы домой, – но все хмурые, гады, ни с кем не поговоришь. К одному дяде я втиснулся на лавку, стал ему объяснять, что я к Нинке еду на Абрам-мыс, потому что я её не забыл, а он мне:

– Иди ты, – говорит, – со своей, понимаешь, Нинкой!

– Куда же, – спрашиваю, – идти, туман не кончился, катера без локатора не пойдут.

– Это в башке у тебя туман, а локатора нету.

– Вот в чём причина, значит? Ну, я тогда покемарю, ты меня толкни...

Я только привалился к нему, и вдруг – кричат:

– Катер пришёл! Кому на Абрам-мыс?

Дядя схватил меня за грудки, поставил на ноги, а сам побежал. Все куда-то понеслись галопом. Ну, и я тоже, старался не отстать. Долго же мы бежали!

7

Катеришко посапывал у причала, и вся публика вниз повалила, в кубрик, а я не пошёл – сидеть уже негде там, – сел на кнехт. Туман и вправду кончился. Последние хлопья относил ветром к Баренцеву, и вода не дымилась, была чёрная, без морщинки, и в ней стояли огни – красные, зелёные, белые. На том берегу светились доки и корабли, домишки на сопках. Там-то и жила моя Нинка. Один огонёк был её. И я, когда возвращался с моря, всегда уже знал, дома она или нет. И ребята мне говорили: «Нинка твоя лампадку засветила». И мне нравилось, что она не ходит на пирс, а ждёт, пока я сам приду, по своей воле.

Скоро мы зашлёпали, ветер обжёт мне щеку, потом другую, это мы делали циркуляцию, проходили под пароходами, под ихними кормами и носами. Шла на судах работа, искры сыпались в воду и шипели, что-то там заваривали, шкрябали борта, красили, висели в беседках, а по трансляции травили джазы. Вдруг вынырнула тюленья башка – отфыркалась, усами подвигала и опять погрузилась. Что им тут делать в заливе, не знаю, рыбы же никакой, разве на нас поглядеть – так чего хорошего увидишь? Однако – с другого борта показался, пронырнул, бродяга, под килем – и опять на меня глядит. Чем-то я ему всё же понравился. Наняться бы мне на такой катеришко, работа – не бей лежачего: трап подай и убери, гашу¹⁷ на кнехт накинь и сбрось, а в основном – сиди, любуйся на воду. Я бы непременно этого тюленя приманил, про-

¹⁷ Гаша – или огон – глухая, не скользящая петля на швартовом конце.

звал бы как-нибудь – Васькой или Серёгой, он бы выныривал и плыл бы рядышком от причала к причалу. Всё же какая-то жизнь была бы!

Народ, однако, уже повыполз на палубу, потом по мосткам устремился счастье ловить – автобус или попутку, а я, чтоб не затоптали ненароком, пошёл тихонечко последним. И закарabalкался к Нинке – напрямик, через сопки. Можно и дорогой пройти, только она вьётся, гадюка, часа два по ней идёшь, я всегда по утёсам карabalкался. Здесь домишки, как стрижиные гнёзда, лепятся один над другим, и клочки земли – как палуба при крене, всё время одна нога выше другой. А всё чего-то пытаются развести на этой земле, картошку, морковь, но ни черта не вырастает. И не вырастет никогда. Мы эту землю отняли у чаек – и сами за это живём, как чайки.

Долго я лез, весь измок под курткой. А наверху на меня накинудся ветер, заледенил, и я уже думал – конец, сейчас полечу с косогора, и крика моего не услышат. Но разглядел Нинкин плетень, вытащил из него жердину, стал ею отталкиваться, как посохом. Окошко у Нинки светилось, я приложился лицом, но ничего не увидел, всё затынуло изморозью. Я постучался и пошёл к двери, привалился к ней. Так и дождался, покуда Нинка открыла.

Нинка не напугалась, когда я на неё повалился, удержала меня, только не говорила ни слова. И не прижалась, как всегда.

– Что ж не встречаешь, Нинка? Я к тебе пришёл или не к тебе?

Губы у меня ползли от холода. Нинка прислонила меня к стенке, как полено, и заперла наружную дверь. Потом прижалась ко мне и заплакала.

– Горе ты моё, – говорит мне Нинка. – Мучение.

Ну, и всё такое прочее. Я сам чуть не заплакал. Обнял её крепче и поцеловал в лоб. Вот уж мучение так мучение.

– погоди ты, я же пришёл, никуда не делся. Что же ты меня в сенях держишь?

Она пуще заплакала. Просто сил моих не было. Но всё-таки в комнату не повела.

– Нинка, у тебя там есть кто?

Я никак не мог её руки отодрать.

– Я ж чувствую, – говорю. – Ну и ладно, неужели же мне нельзя в гости к тебе? Как ты считаешь, Нинка?

Сам-то я считал – мне уйти надо. Но вот что мне Нинка скажет – это я хотел знать. Она отступила, но сени были тесные, я сразу нашарил Нинкины плечи. Она, оказывается, стояла у двери в комнату, загоразивала её.

– Ты что, Нинка?

Лицо у неё было всё мокрое.

– Не пущу, ты драться будешь.

Вот именно, думаю, за этим только я к ней сюда пёхался.

– Ладно тебе. Пусти!

– А будешь?

– На улицу пусти, я назад пойду.

– Куда! Ты до причала не дойдёшь, замёрзнешь...

– Ну видишь! Что ж теперь делать?

Нинка тогда открыла, и я вошёл за ней.

Он сидел за столом, в майке и в галифе, чистенький такой солдатик, крепышок, ёжиком стриженный. Весь розовый, как из баньки. И улыбался мне. А Нинка стояла между нами. Гимнастёрка его лежала на койке, на красном стёганом одеяле; я помню, как Нинка его купила. Раньше у неё шитое было из лоскутков. Она тепло любила до смерти и печку топила жарко, я вот так же мог за столом сидеть, в одном тельнике. А теперь она ему пришивала пуговицы. Или подворотничок, это я уж не знаю; просто увидел – ножницы уже не на гвоздочке висят, на стенке, а лежат на одеяле, рядом – иголка и нитки. Сапоги же его кирзовые она у двери

поставила, я их не заметил и повалил. Не нарочно, а просто не заметил. Он так это и оценил, не перестал улыбаться.

На столе была закуска и водка, полбутылки они уже отхлебнули, то-то он был такой хорошенький, прямо-таки загляденье. Только вот ростом не вышел, не повезло Нинке. Ну, и то хорошо.

– Что стоишь, Нинка, не познакомишь меня с товарищем военнослужащим? Солдат, – говорю, – матросу друг и помощник. Взаимодействие и выручка!

Нинка не двинулась, стояла между нами, к нему лицом, ко мне спиной. А он вскочил, как на пружине, протянул мне руку.

– Сержант Лубенцов. А так вообще – Аркадий.

Я и руку отдернул. Подошёл к его гимнастерке, расправил, чтоб видны были лычки на погонах. А руку ему подал не сразу, сперва потёр об штаны.

– Сенька.

– Очень приятно. Семён, значит?

– Представьте себе – Арсений. Но это – ежели трезвый. А так – Сенька.

– Ну что ж, – говорит, – корешами будем?

Ах, скуластенький, так и набивался на хорошее отношение.

– Не только, – говорю, – корешами. Может, и родственниками. Всё ж таки Нинка нам обоим не чужая.

Нахмурился скуластенький. А я подошёл к столу и сам себе налил в стакан. В Нинкин. Он смотрел, моргал белесыми ресницами. Что же, думаю, ты сейчас предпримешь? Ударишь? Ну, это-то просто, я тут же с копыт сойду. Но только ведь этим не кончится. Я упаду, но я же и встану. И мне тогда всё нипочём: бутылка – значит, бутылка, табуретка – так табуретка. А Нинка – чью сторону примет? Поможет тебе меня выпроваживать?

– Прошу к нашему столу.

Это он мне говорит, скуластенький, и ручкой показывает гостеприимно. А я уже сам себе налил. Вот положение.

– Да нет, говорю, – благодарен. Только поужинал.

И полез вилкой в шпроты. Тут он снова заулыбался. Непробиваемая у солдатика оборона. Прошу прощения, – у сержанта.

– Как жизнь, морячок?

Это он у меня спрашивает, береговой, сухопутный.

– Да какая же, – говорю, – у морячка жизнь! Одни огорчения.

– Ну, это зря!

– А вот, представьте себе, один мой знакомый... ты его, Нинка, не знаешь... сошёл, значит, на берег. Заваливается к своей женщине. На всех парусах к ней летел. А у нее, представьте, другой сидит. Ну, всё понятно. Соскучилась женщина ждать. Но кто-то же из них двоих – третий. А третий – должен уйти, как в песне поётся. Мой знакомый ему и говорит: «Я тебя вижу или это у меня мираж перед глазами?» А он мужчина строгий, мой знакомый. Правда, уже его нет, удалился в сторону моря, погиб в неравном бою с трескою. Ну, с кем не бывает. А тот, представьте, моргает и не уходит. Стесняется, что ли, уйти. Тогда мой знакомый знаете чего делает?..

Но тут я на Нинку посмотрел и замолчал. Она уже сидела на койке, ноги скрестила, а руки у ней лежали на коленях. Смотрела на меня и губы кусала. Но я не на губы смотрел, а на руки.

Я вам сказал или нет? – она судомойкой была на плавбазе. И ещё всякие постирушки брала – и в море, и на дом, всегда у неё полное корыто стояло в кухоньке. Представьте, сколько же она за свою жизнь всего перемыла – и какие у ней могли быть руки! Ей, наверно, и тридцати ещё не было, я никогда не спрашивал, но руки ещё на тридцать были старше, я честно говорю. Как будто с чужих содрали кожу и напялили ей, а кожа не приросла, такая и осталась – мёртвая,

влажная, бледно-розовая, вся в морщинах, в мешочках. И когда я её обнимал, я только и думал: хоть бы она меня не трогала этими руками, у меня всякая охота к ней пропадала. Я сам не свой делался, хотелось мне бежать от неё куда глаза глядят. Но и она как чувствовала – сама от меня их прятала. Вот я их увидел и всё тут забыл начисто. Зачем я сюда явился? Что я этому скуластенькому втолковывал?

– О чём же это я?

– Про твоего знакомого, Нинка напомнила. Губы у неё дрожали. – Чего же он сделал? Убил их? Обоих или только её?

– Да нет же! – Я засмеялся. – Третий-то он был, вот в чём дело. Сказал он им: «Тогда за ваше счастье!»

Солдатик смутился, но я взял его руку и чокнулся с ним.

– Чего ты смущаешься? – говорю. – Нинка, знаешь, какая женщина! Ты не пропадёшь с ней. Она тебя и обстирает, и обошьёт. С нею сыт будешь и пьян, и нос всегда в табаке. Ты только не бей её, это мы все умеем, а что не так – скажи ей с металлом в голосе, не мне тебя учить, она и послушается...

Такого со мной ещё не было: я пил и только трезвел. И вправду, мне вдруг подумалось: может, это оно и есть, Нинкино счастье? Чем чёрт не шутит, может, ей с ним тепло будет на свете? А я тогда зачем тут стою, почему не уйду? Ведь у меня ж не серьёзно с ней, я только лясы буду точить, голову ей баламутить, а у него, может, и серьёзно?

– А ты, кореш, лёгок на помине, – скуластенький мне говорит.

Я допил и поглядел на него. Глазки, смотрю, у него повеселели, но что-то осталось в них тревожное. Не верил, поди, что всё так добром и кончится и он останется сегодня с Нинкой.

– Вот здорово! И чем же вы тут меня поминали? Добром?

– Да нет, не про тебя лично, а просто Нинок сейчас ножик уронила; надо, говорит, постучать об дерево, а то к нам мужчина пожалует. А я говорю: «Суеверие – привычка вредная. Если и пожалует, то вряд ли».

– Правильно говорите, Аркадий... Как вас там дальше?

– Васильевич. Я лично, например, в тринадцатое число не верю. И насчёт чёрной кошки – это всё глупости. А человек – хозяин природы и всего мировоззрения, он должен твёрдый курс иметь в поведении. И на всё постороннее не обращать внимания. Вот, например, задумал – умри, но сделай. Согласен ты?

– Да что вы у меня-то, вы у ней спросите.

– Нет, я о чём? Вот у меня тоже друг. Неустойчивый, всё ему что-то мерещится. А я на него воздействую постоянно. И перелом намечается, определённо. Вот, Нинок его знает...

Нинка поглядела на меня и вздохнула. Какой же был у него *твёрдый курс*, у скуластенького? Сегодня – к ней под одеяло стёганое. А служба кончится – он к себе поедет, дома его другая ждёт, запланированная. А Нинка всё так и будет на Абрам-мысу жить, как чайка, светить окошком новому трепачу. А я – что могу для неё сделать?

Я снял куртку – мех пристегнуть – и увидел изнутри карман, затянутый молнией, плотно ещё набитый. Вот разве только это я могу. И то – если она возьмёт.

– Выйди со мной, Нинка. Я чего скажу.

Он так и примёрз к стулу. Но улыбался. Конечно, не уведу же я её.

– Что ж так скоро, морячок?

– Вахта, – отвечаю.

– Э, хорошая вахта сама стоит!

Ах, скуластенький, что ты ещё про морячков знаешь? Но больше он меня не удерживал. Пожал мне руку – со всей, конечно, силёнкой, – но как-то я почувствовал: нет, ненадолго у них.

Нинка пошла за мной, я пропустил её в сени, помахал ему рукой и притворил дверь. В темноте я взял её за плечи и притянул.

– Сеня! – она сама ко мне прильнула. Вот уж ни к чему. Я же не за тем её звал. – Прогнать его, да? Скажи только честно...

Ничего, я подумал. Особенно она страдать не будет, если у них и ненадолго.

– Ты брось это, Нинка, выкинь из головы... Всё у вас наладится, он, знаешь, верный, такой зря не гуляет. Это мне верить нельзя, а он положительный, ты и сама видишь.

– Ты за тем меня позвал?

– Нет, не за тем... Нинка, возьми у меня гроши.

– Ты что?

– Ну, на сохранение возьми, я же всё равно размотаю.

Я стал ей совать полпачки. Она меня схватила за руки – своими руками! – я дёрнулся, выронил всё, рассыпал по полу. Нинка нагнулась и стала шарить впотьмах. Я тоже с нею шарил. Нинка мне их совала в руку, а я опять ронял. Тогда она меня оттолкнула к стенке, стала одна подбирать, потом всё сразу втиснула за пазуху, в карман. Я снова за ними полез – она вцепилась и держала меня за руки.

– Уйди! Уйди по-доброму. Ничего мне от тебя не надо! Сволочь ты, изувер!

Она уже меня не держала. Один её голос из темноты египетской, через слёзы, бухал мне в уши: «Сволочь... Изувер... Палач...»

– Не гони, я и так уйду.

– Иди! В последний раз тебя видела! Замерзни, гад...

Я нашарил щеколду, Нинка меня отёрла плечом и сама открыла дверь. Ветер нас ожёг колким снегом. Нинка сразу притихла, – верно, уже не рада была, что гнала меня. Но не ночевать же нам тут втроём, хотя у неё и кухня была в этой хибаре.

Нинка спросила:

– Как же ты дойдёшь такой?

Я её погладил по плечу и пошёл с косогора. Прошёл шагов двадцать – услышал: стукнула щеколда.

С катера я всё хотел разглядеть её огонёк, но не увидел – расплылся он среди прочих. Вот так весь вечер, думаю, всё у меня невпопад. Да он ещё и не кончился, этот вечер...

Когда причаливали у морвокзала, матрос вахтенный замешкался, не вышло у него с ходу накинуть гашу, и я к нему полез отнимать её, – как он меня отпихнёт локтем!

– Отскочи, ненаглядный, в лоб засвечу!

Так, думаю, ну, быть мне сегодня битым.

8

Я только успел сойти на причал, они ко мне кинулись – двое чёрных, как волки в лунной степи.

– Сеня! – кричат. – Ну, теперь какие планы?

Не знаю, как у бичей, а у меня планы были в общагу идти, спать.

– А я тебе что говорил! – это Вовчик Аскольду. – Мы-то по всему городу, с ног сбились, в милицию хотели звонить, не дай бог замерзнет, а он – спать!

– Как это понять, Сеня? Ты постарел или с нами не хочешь знаться?

Нет, вам таких корешей не иметь! Я от волнения даже сел на причальную тумбу. Ведь и вправду же я мог замерзнуть.

– Вставай, Сень, не сиди, вредно, – они меня подняли под локти. – Пошли погреемся.

Вовчик сбоку плёлся, дышал в воротник, а Аскольд – то вперёд забежит, то приотстанет – и зубами блестел, рассказывал:

– Я ему говорю: «Вовчик, грю, это не дело, так мы Сеню потеряем, мы грех берём на душу, что его не разыскали». А он говорит: «Какой грех, он к бабе ушёл, нас забыл». Нет, думаю, он

человек верный, что-то не то, вот так люди и погибают. Ну, мы на моторе к тебе в общагу, всё щас перевернём кверху килем, а там тебя знают, Сеня, ты вообще человек известный. «Ищите его на Абрам-мысу, – говорят. – Бывает, он туда ездит».

– Это кто ж сказал? Толик? Лысоватый такой?

– Неважно кто, Сень. Важно, что нашли тебя – живого, не замёрзшего!

Не иметь вам таких корешей, я честно говорю!

Так мы и до «Арктики» дошли. А оттуда уже последних вышибали, и двое милицейских на страже стояли, с гардеробщиком. Какой-то малый к ним ломился, росточком с дверь, убеждал сиплым голосом:

– Папаша, пустите кочегара, у меня ребёнок болен.

Аскольд к нему кинулся на помощь.

– И нас пустите, там наши дамы сидят в залого!

– Нету ваших дам, – гардеробщик нам наотрез. – Уехали.

– Как это уехали? Без нас уехали?

Мы стали вчетвером ломиться. Да только у нас дверь поддалась – товарищ из милиции высунулся, в шубе.

– Это что за самодеятельность? – говорит. – Ну, посидит у нас кой-кто сегодня. А ну, Севастьянов, бери вот этого, в куртке.

Ну, я эти штуки знаю, никакой Севастьянов меня не поведёт, охота ему на холод вылезать. Так что я ботинок просунул в дверь, помощи ожидаю справа и слева. Но Вовчик с Аскольдом чего-то скисли и сами же меня оттащили. Дверь и закрылась. Так обидно!

– Это ничего! – орёт мне пучеглазый. – Зато у меня план есть. Сейчас мы в Росту смахаем, у Клавки доберём. Тем более понравился ты ей, Сеня!..

Ага, думаю, значит, в гости поедем. Ну, она тоже занятная, Клавка. А я-то: «спать, спать!» Какой тут «спать»!

– А найдётся у ней чего добрать?

– У Клавки чтоб не нашлось? Стойте тут, я к вокзалу побежал за мотором.

Ну, пускай, думаю, сбегает, у него мослы длинные, а вокзал – метров двести, не больше. Но наблюдаю – Вовчика шатает легонько. Стал я его поддерживать. А он – меня. Правильно, надо вместе держаться. Кореши мы или не кореши?

Долго ли, коротко ли мы с ним корешили, но вот и такси загудело, и Аскольд нам из окошка машет. Мы с Вовчиком полезли, а там ещё какие-то двое, да с барахлом. Вовчик-то поместился, а у меня ноги наружу. Ну, да уж как-нибудь.

– Как-нибудь это ты на своей будешь ездить, – это шеф, значит, голос подаёт из провинции. Вылез, переложил мне ноги вовнутрь. Оказывается, нашлось для них местечко. У шефа чтоб не нашлось! – Вам куда, капиталисты?

– В Росту вези! – пучеглазый орёт. – Улица Инициативная, дом семнадцать...

Ну, всё помнит, кисонька! А ведь тоже под газом.

– Э, мне в Росту ехать – себе во вред. Смена-то кончается.

– Это не разговор, шеф! – опять он, пучеглазый. – Ты сперва счётчик выруби, тогда поговорим. Крути налево!

И сам уже там баранку, что ли, крутит.

– Э, ты мне не помогай.

– Всё, шеф, мы тебя любим. Умрём за тебя.

– Не надо, поживите ещё. Только у меня пассажиры до Горки, им ближе.

– Не в том дело, ближе или дальше, а мы как будто раньше сели.

Это какая-то гражданка сзади меня. Оказывается, я к ней привалился. То-то мне было мягко. Я к ней повернулся, хотел извиниться за наше поведение, а она мне чего-то руками в грудь упёрлась.

– Сидите, – говорит, – спокойно, без этих штук. А то я, знаете, с мужем еду.

Я и на мужа хотел поглядеть, но шея уже дальше не поворачивалась. А муж – он тоже голос подал:

– Действительно, – говорит, – уже если мы ради вас потеснились, так не хулиганьте. А то и милицию можно позвать.

– Хе! – сказал шеф. – Какая теперь милиция!

И поехал, родной. Да только мы двинулись – кто-то догоняет, приложился носом к стеклу.

– Ребятки, возьмите кочегара, у меня ребёнок болен.

Шеф сразу на тормоз.

– Ты, охламон, отстанешь?

– Езжай, – орёт пучеглазый, – сам отвалится!

– Куда «езжай», он за ручку держится.

Стали они там объясняться на морозе. Долго руками махали. Потом шеф снова сел и как рванёт с места. Кочегар попрыгал, попрыгал и отстал.

– Послушайте, – вдруг эта гражданка говорит, – вы в самом деле счётчик выключили? Там уже сколько-то набито у нас, как же будем считать?

– Действительно, – мужнин голос, – мы уже доедем, потом свои тарифы устанавливайте.

– А тебя кто спрашивает? – говорит ему Аскольд. – Ты кто? Приезжий? Ну, и сиди, приезжий, не вякай. Мы, если хочешь знать, ещё за вас можем заплатить. Видишь вот этого, в курточке? А ты думаешь, он кто? А он капитан-директор всего сельдяного флота. Самый главный капиталист!

– Рокфеллер! – кричит Вовчик.

– Про него каждый день в газетах интервью печатают. Он всю страну рыбой кормит. И за границу всю кормит. Да мы тебя, приезжий, со всеми шмотками купим! Покажи ему, Сеня, какие у нас капиталы...

Я засмеялся, сунул руку за пазуху и вытащил всю пачку. Хотя это уже не пачка была, а ворох – мы же их с Нинкой не складывали впотьмах, совали как придётся. Я этот ворох и показал дамочке, и её мужу, и шофёру тоже показал, пусть не волнуется, не на арапа едем.

– Спрячь, – говорит Вовчик, – ослепнут. Они ж у тебя в темноте светятся.

– Понял, приезжий? – спросил Аскольд. – Тут патриоты едут родного Заполярья. Скромные патриоты! Была б гитара, я б тебе спел... «Суровый Север нам дороже кавказских пальм и крымского тепла!»

И Вовчик тоже запел:

– «И наши северные ворота – бастионы мира и труда!»

– Газуй, шеф! Крути лапами!

Эх, и парень же был этот пучеглазый! Ну, и Вовчик тоже дай бог!

А машина не шла, а просто летела над улицей, покрывками снега не касалась, и меня так славно стало укачивать... Потом эти приезжие холоду напустили, пока барахло своё вытаскивали. Муж чего-то там платить набивался, а пучеглазый орал шоферу:

– Да плюнь ты на ихние трёшки, ты тоже патриот! Чаевые в нашем городе не берут!

И только опять поехали, ну минуту буквально – Аскольд меня взбодрил:

– Товарищ капитан-директор, как спали? Платить надо.

Я засмеялся, расстегнул «молнию» на куртке.

– Давай сам плати.

Вовчик сунул руку, вытащил сколько-то там, дал шофёру. А тот, дурень, ещё застеснялся:

– Орлы, я с пьяных больше десятки не беру.

– Бледный ты, шеф! – пучеглазый орал. – Плохо питаешься. Тебе капитан-директор премию выдаёт на поправку. Сень, ты подтверди!

– Ага, – я подтвердил. – Я же у нас добрый.

И правда – так хорошо мне было, счастливо, оттого что они меня все любят, а я их любил, как родных...

А совсем я проснулся – от холода. Мотоцикл трещал, и я уже не в такси ехал, а в коляске. Когда ж это я в неё пересел? Просто уму непостижимо.

– Эй, артист! – надо мной товарищ из милиции склонился, в дохе. Сам-то он сзади сидел, на колесе. – Тебя держать? Не вывалишься?

– Да хулиган он, а не артист! – ещё какие-то орала.

Мотоцикл медленно выезжал со двора, и целая толпища нас провожала.

– Господи, – кричали, – когда же мы от них город очистим?.. Учти, лейтенант, коллективное заявление у нас готово!..

– Отдыхайте, граждане, – лейтенант их успокаивал. – Коллективов не надо, а у кого конкретно стёкла побиты...

Рядом со мной пучеглазый шёл и шептал сиплым голосом:

– Сеня, они же нас не поймут! Вспомни всё лучшее, Сеня!..

Что же там лучшего-то было?.. Я какие-то обрывки помнил... По какой-то я лестнице летел башкой вперёд и парадное пробил насквозь, обе двери, то-то она у меня раскалывалась. И лицо горело, как набитое. Да точно, набитое, с кем-то я ещё перед этим дрался... Я по лицу провёл ладонью и смотрю – кровь на ней. Господи, да с корешами же я и дрался, с кем же ещё! Вовчик меня стучал, а пучеглазый за локти держал сзади.

Я вспомнил всё лучшее и полез из коляски. Аскольд от меня отскочил на шаг, не достать. А Вовчика я что-то не видел, друга моего, кореша бывшего.

– Сиди! – лейтенант мне надавил на плечо. И спрашивает Аскольда: – А ты чего, с нами в отделение поедешь, свидетелем?

Ага, только пучеглазого и видели.

– Вот так-то. Давай жми, Макарычев. Отдыхайте граждане, приятного вам сна!

Макарычев на меня поглядел с высокого седла.

– Ну, артист! – И прибавил газу.

9

Глаза у меня слезились от нашатыря, лицо горело, пальцы на правой сочились сукровицей. Лейтенант мне ватку с чем-то дал прикладывать, посадил на лавку в дежурке, и они с Макарычевым куда-то уехали.

Я себе посиживал, а дежурный чего-то пописывал за барьером и на меня не глядел. Я уже подумал, не уйти ли мне по-тихому, но тут зашёл старшина в тулупе, роста весьма внушительного, личико кирпичное, и прислонился к косяку. Ещё была дверь с решёткой, там какая-то баба стояла патлатая, разглядывала меня сквозь прутья. Не знаю, чем она там провинилась, почему за решётку села. А я – почему на лавке. Дежурному видней.

Он уже был в летах, до майора дослужился, облысел на этом деле. Но пока ещё «внутренним займом» пользовался, зачёсывал с боков. Я поглядел-поглядел и засмеялся. Тут он и бросил скрипеть пёрышком.

– Самому смешно? Сейчас расскажешь мне, я тоже посмеюсь.

– С удовольствием, – говорю, – только дайте вспомнить.

– Это, пожалуйста, дадим. Время у тебя будет, суток пятнадцать. Не возражаешь?

– Да что там... Ведь от этого ж не умирают.

– Как фамилия?

– Ох, – говорю, – а бесфамильного – вы меня не посадите?

– Ныркин, при нём документы были?

Старшина перемнулся с валенка на валенок.

– Нету.

Всё правильно, я их в общаге в пиджаке оставил.

– А что при нём было?

– Деньги. Сорок копеек.

– Чего-чего?! – Я вскочил с лавки, пошёл к барьеру. – Каких сорок, вы что-о? У меня тыща двести было новыми, с рейса остались.

Майор поглядел на меня и ручку закусил во рту.

– Правду говоришь?

– Ну, поменьше, я куртку вот купил, в ресторане сидел, на такси тоже потратился. Но тыщу же я не мог посеять!

Майор поглядел на старшину. Тот руками развёл.

– Не знаю, как там тебя...

– Шалай.

– Ну, вот и познакомились. Майор Запылаев. Так вот, Шалай. Мы же твои деньги не заначили, ты же это прекрасно знаешь.

Я пошёл обратно к лавке. Когда же их у меня заначили? Всё какие-то обрывки... Аскольд, задом к двери, молотил в неё копытом, а Вовчик как сунул палец в звонок, так и держал, пока Клавка не приоткрыла на цепочке. «Кого ещё черти?..» – «Отпирай, Клавка, мы к тебе Сеню специально привезли. Жить, говорит, без тебя не может!» – «А говорить он может?» Она там стояла в халатике с красными и зелёными цветами, смеялась. «И что я с вами, тремя идиотами, буду делать?» За ней – трёхручьевская, в бигудях, что-то ей шептала. «Ты там, Нечуева, не агитируй!» – это Аскольд всё орал. Потом он на диване сидел, тренькал на гитаре: «Пришёл другой, и я не виновата, что я любить и ждать тебя устала...» И хохотал при этом. Вовчик свою Лидку обжимал, она его шлёпала по рукам и шипела: «Не щекотись, мне смеяться нельзя, не видишь – я кремом намазанная?..» А я сел на пол у батареи. Клавка мне поднесла стопку и чего-то закусить, хотела со мной чокнуться. А я её ноги увидел – красивые, с круглыми коленками, и чокнулся об её коленку. Я её так любил, Клавку, никого в жизни так не любил!.. Где-то я ещё в кухне её обнимал... Ну да, голову пошёл смочить... Куда-то я её поехать со мной упрасивал, потому что бичи меня ограбят, только она одна меня может спасти... «Ах ты, рыженький, – говорила Клавка, – я ведь не железная, тоже голову могу потерять. А если мне твоя верная в глаза кислотой?» Чего-то я ещё ей бормотал несусветное. Она вырвалась, запахнула халатик, пошла из кухни...

– Ты что, – спросил майор Запылаев, – совсем ничего не помнишь?

– Начисто.

– А с кем в ресторане сидел?

– С друзьями.

– На них не думаешь?

Я не ответил.

– И куда на такси ехали, запомятовал?

– К женщине.

– Что за женщина?

...А в комнате я её с Аскольдом застал, чуть не в обнимку. Ну, так мне показалось. И я его с дивана шуранул на пол. А сам к ней подсел, стал её целовать в шею, в грудь. Она не вырвалась, только хохотала и дула мне в лицо. И вдруг меня пучеглазый начал душить. А Вовчик вроде бы разнимать кинулся, но сам же первый и стукнул. В коридор они меня вытащили метелить. Но там-то я вырвался и врезал обоим хорошо по разу, а в третий раз в стенку попал, себе же в убыток. И уж они меня без помехи метелили. Аскольд за локти держал, а Вовчик примеривался и стучал. «Это ему ещё мало. Это он ещё не запомнит. А вот так – запомнит. И вот так». Покамест Клав-ка не выскочила: «А ну, прекратите, звери! Я вас сейчас всех налажу!»

Но их наладишь, когда они уже и впрямь озверели. Открыли дверь и с лестницы меня – головой вниз...

Баба вдруг подала голос из-за решётки:

- Ты вспомни получше, мальчонка. Милиция – она хорошая, она чужого не берёт.
- Отсиживай, Кутузова, отбивай своё, – сказал ей старшина. – Тебя не спрашивают.
- Есть, гражданин начальник. Мне мальчонку жалко.
- Нам тоже его жалко. А ты молчи в тряпочку.

Майор Запылаев повздыхал и сказал:

– Так как же, Шалай? Не сможешь мне? Я ведь обязан твои деньги найти.

– Ничего вы не обязаны. Я, по крайней мере, не прошу.

– Напрасно ты так. Тем, кто это делает, крепко может попасть, а ты покрываешь. Что – и фамилии её не помнишь?

...Когда я эти кирпичики стал кидать – ей в окошко, а попал другому кому-то, тут целый взвод выбежал меня хватать, и какой-то мужик сверху кричал: «Это у Перевощиковой, у Перевощиковой шпана собирается! Я эту квартиру давно на заметку взял!» А Клавка из подъезда: «Больше тебе делать нечего! Смотришь, кто ко мне ходит. А я женщина свободная. Может, мне тоже жизни хочется». Ну, и голосок же был у моей возлюбленной!

Но я ещё и про Нинку вспомнил: бичи-то ведь знают, что я на Абрам-мысу был, милиция докопается, а вдруг у неё деньги в сенях остались, даже наверняка остались, и Нинку вполне замести могут, потом мне её и самому не выручить. Да если и бичей заметут с Клавкой – всё равно, какие б они ни были, – не стоили эти деньги, чтоб люди из-за них сели в тюрьму. Я всего двадцать суток на губе¹⁸ сидел, больше не сидел, и всё равно я знаю: никакие деньги этого не стоят. Лучше я сам их при встрече возьму за глотку.

– Ты откуда, Шалай? С тралового?

– Сам ты траловый!

– Давай, груби мне. Я всё фиксирую.

– Не траловый я, а сельдяной.

– Вот и отвечай по существу. Я на тебя официальный документ заполняю. Где живёшь?

– На земле и на море.

– Ладно, спрошу точнее. Прописан где?

– Прописан по кораблю.

– Так... В общежитии, значит. Ну что, две недельки у нас поживёшь. За вытрезвление с тебя, так и быть, не взыщем по бедности.

– Спасибо...

– Ныркин, выдай ему постельный комплект, завтра ещё допросим.

Ныркин пошёл было, но тут эта баба из-за решётки стала канючить:

– А меня когда же в туалет сводят?

– Водили тебя, – сказал Ныркин, – часа не прошло. Потерпишь маленько.

– Не буду я терпеть! Вот возьму и напущу на пол.

Ныркин ей сказал добродушно:

– Напустишь – юбкой будешь вытирать.

– Ещё чего! Юбка у меня – шерстяная.

«Господи, – я подумал, – вот баба кошмарная. Как её только земля носит! И ведь это я с нею там окажусь, других же камер нету». Я встал и пошёл опять к барьеру.

– Не поживу я у вас, я лучше в общагу пойду.

– Ну, милый, это уж мне знать, где тебе лучше. Нахулиганил – значит, у нас лучше.

– Нельзя мне, майор. Береговые у меня. Я неделю как с моря...

¹⁸ Армейская гауптвахта (сленг).

– Что ж делать, Шалай? Мы, что ли, с Ныркиным стёкла били, покой нарушали трудящихся?

– ...и мне завтра по новой в море. Утром отход. На восемьсот пятнадцатом, можете проверить.

Майор Запылаев бросил свой документ заполнять, вздохнул.

– Ныркин, какой завтра отходит?

– Кто его знает. В диспетчерскую надо звонить.

– Н-да... Тем более, он же не знает, диспетчер, есть там этот Шалай в роли или нет. Кто у тебя капитан?

Я пожал плечами. Капитана я не успел придумать.

– В море, – говорю, – познакомимся.

– Врёт, – сказал Ныркин. – А может, не врёт.

– Ну, а кого-нибудь помнишь? Старпома? Дрифмейстера?

– Штурманов? – баба сказала из-за решётки. – Механиков?

– Во! Стармеха помню. Бабилов.

– Сергей Андреич?

– Точно.

Запылаев опять чего-то вздохнул.

– Телефон-то у него наверняка есть...

Это правда, телефон был у «деда», его за три года до этого депутатом выбирали в райсовет. Только не нужно ему было знать про мои похождения.

– Он же спит, – говорю.

– Что ж делать, разбудим. Твоя вина.

– И всё я пошутил. Никакой у меня не отход.

– Врал, значит?

– Ага, – я снова пошёл к лавке, – давай мне, старшина, комплект, я спать буду.

Майор Запылаев всё же набрал номер. Я так себе и представил – как в длинном-длинном коридоре, где сундуки стоят, корыта, холодильник чей-нибудь, а на стенах висят велосипеды, как там звенит, заливается звонок, – пока кто-нибудь нервный не выскочит, протирая кулаками очи, не нашарит выключатель, потом в другой конец не зашлёпает, к телефону. Потом к «деду» идут стучать – тоже подвиг, опять в другой конец шлёпай. Но «деда» нельзя не позвать, его и ругают, и уважают. И вот «дед» поднимается, кряхтит, накидывает бушлат, суёт ноги в тёплые галоши, идёт. И вся квартира, конечно, пристраивает уши к дверям – кому ж это он понадобился в столь поздний час? Любопытно, любопытно, «майор Запылаев из милиции», то-то нынче пошатывались, когда пришли. Нет, с «дедом» всё в порядке, матросик из его экипажа набедокурил – «в нетрезвом, конечно». Скажите, тысячу рублей размотал, не помнит где. Хорош экипаж! А «деду» он что – сын, племянник? Ах, этот, который всё к нему ходил, вроде подкидыша. Хорош подкидыш, с таким жить да радоваться. А старый-то за него просит, унижается, было бы из-за кого. Господи, и Ненил Васильна выбежала. Бог своих не дал, вот и носятся с прохиндеем великовозрастным, души не чают... Потом идут они двое между замочных скважин и молчат. Запираются в своей комнатёшке и друг другу ни слова.

Майор Запылаев положил трубку, погладил свой «внутренний заём» и насупился: что ж ему теперь с официальным документом делать?

– Оставлю на всякий случай. Жильцы пожалуются. Стёкла придётся тебе вставить. Договорились?

Я кивнул. Ничего, сквозь землю не провалился, только лицо как будто пятнами пошло.

– Я идти могу?

– Мотай! Хотя подожди, Лунёв с Макарычевым тебя отвезут, а то ещё где-нибудь попадёшься, снова придётся Бабилова будить.

Тут как раз и подъехали Лунёв с Макарычевым – злые как бесы. Макарычев платком садину зажимал на щеке, а Лунёв высыпал майору Запылаеву на стол гильзы от пистолета – штуки четыре, – оказывается, в международный конфликт им пришлось вмешаться, возле Интерклуба англичане подрались с канадцами.

– Весёлая ночка! – сказал майор Запылаев. – А придётся ещё, Макарычев, съездить, бича в общежитие свезёшь.

Лунёв поглядел на меня зверем.

– Так и будем, значит, работать? Мы задерживаем, а ты выпускаешь.

– Видишь, какое дело, Лунёв. Чем ты его воспитывать собираешься? Метлу в руки дашь – улицу подметать? Это ему приятный отдых. А вот он завтра в море идёт, в восемь утра, это проверено, так лучшей меры мы с тобой не придумаем. И рыбы мы тоже не наловим для государства, Лунёв...

– Пусть отдохнёт Макарычев, – сказал Лунёв, – сам свезу.

По дороге я Лунёва попросил подождать, зашёл в один знакомый двор и постоял там, задрав голову. Окошко на четвёртом этаже погасло. Я вернулся и сел в коляску.

Лунёв меня довёз, разбудил вахтёршу и на прощанье помахал мне рукой.

– Всё хреновина, не огорчайся.

Про деньги ему сказали.

– Спасибо, – говорю.

– Счастливо в море!

Я пришёл, скинул только куртку и тут же повалился на койку – лицом вниз. Заснул без снов, без памяти, как младенец.

10

Вахтёрша своё дело знала. Если кому в море идти, она всю общагу перевернёт, но тебя и мёртвого поставит на ноги. Постоишь, покачаешься – и оживёшь. Но уж соседям, конечно, не улежать. Все мои четверо проснулись, поглядели на чёрные окна и задымили в четыре рта. Сочувствовали мне. Шутка сказать – вместе неделю прожили! Тем более нам в одной компании уже не встретиться. Сегодня же на моё место другой придёт – как в том анекдоте: «Спи скорей, давай подушку».

Они себе покуривали, а я собирался. Чемоданчик ещё был крепкий, две пары белья на смену, три сорочки и галстук, и шапка меховая, и золотые часики, а пальто и костюм я на хранение решил оставить – одолжил у соседёв иголку и химический карандашик, зашил в мешковину и написал: «Шалай С.А. Ждать меня в апреле. СРТ-815 “Скакун”». Вот всё, что я нажил. И ещё курточка. Ну, с ней ничего не сделалось, и кровь хорошо замылась, никаких следов. Да, вот и пачка осталась «Беломора», на сегодня хватит, а завтра можно и в кредит брать в лавочке у артельного. А если сегодня и вправду отойдём, то и деньги мне ни к чему, сами понимаете. Вот если б они были, тогда другое дело. Ну, ладно, что теперь говорить.

– Счастливо, негритята!

– Тебе счастливо, дикарь.

– Встретимся в море?

– Возле Фарер.

Мы посидели, как водится, и я всем пожал лапы – ещё тёплые, вялые со сна.

Сколько же раз я уходил отсюда? Дайте вспомнить. Ну, не из этой комнаты, все они на один лад: пять коек с тумбочками, стол под газеткой, потресканное зеркало на стене и картина – люди спасаются на обломке мачты, а на них накатывает волнишка, баллов так на десять – чёрта лысого спасёшься! На другой стене – пограничный дозор в серых скалах вглядывается в

серое море, старшина ладошку приставил ко лбу – бинокль у него, наверно, в воду свалился. Да, без воды нам, конечно, не обойтись на берегу. Ладно, пускай висят. А я пошёл.

На выходе вахтёрша меня остановила:

– Погоди, сынок, у тебя за семь суток не уплочено.

Вот этого я не учёл Семь дней – это, значит, семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула.

– У соседей не мог одолжить?

– Меньше десятки занимать – несолидно.

– Ладно, сама за тебя заплачу. Упомнишь?

– Забуду. Вы напомните, пожалуйста.

– Постой, я тебе пропуск выпишу.

Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плевательницу. Кому же его показывать? Той же вахтёрше.

– До свиданья, мамаша.

– Ступай, счастливо тебе в море.

Была ещё самая ночь, когда я выходил, со звёздами. Я пошёл по тропке, вышел на набережную. Порт переливался огнями, до самых дальних причалов, вода блестела в ковшах¹⁹, и весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тифонами и сиренами, и отовсюду к нему спешили – толпами, врассыпную, из переулков, из автобусов.

На углу Милицейской я остановился. Четверть десятого было на моих. Она уже там, на работе. Она минута в минуту приходит. Не то что я к отходу. Монеты у меня для автомата не было, но я зато способ знаю.

Подошёл там к трубке мужчина.

– Нельзя, – говорит, – она в лаборатории. И мы по личному делу...

– Ах, какая жалость! Тут к ней брат приехал...

– Из Волоколамска?

Так и есть, нарвался я на очкарика.

– Ну, нельзя – не зовите. Только передайте: тот самый звонил, ему сегодня в море, просил её прийти на причал. – Я ему сказал, какое судно и как найти причал. – Запомните?

С кем-то он там пошептался и ответил:

– Хорошо, я постараюсь.

– Вы-то не старайтесь, пусть она постарается.

– Она... по-видимому, придёт. Если сможет. Больше ничего?

– Нет, спасибо.

Так мы с нею и пообщались.

Мне ещё нужно было в кадры – это рядом, на спуске: избёнка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные, карандашами исписанные вкось и наискось, увешанные плакатами: «Рыбак! Не выходи на выметку без ножа», «Не смотри растерянно на лоно вод, действуй уверенно, используй эхолот!», «Перевыполним план по улову трески на трамтарарам процентов!» Пять или шесть окошек выходят в коридор – в такое окошко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчётся с утра до ночи, – кажется, век не пробиться. Но это кажется.

Я вломился в коридор и заорал с порога:

– Бичи, пустите добровольца!

Расступились. Девушка даже выглянула из окошка.

– Это ты доброволец?

– Я. Выдай мне билетик на пароход.

¹⁹ Ковш – часть портовой акватории, углубление, ограниченное с трех сторон причалами.

- Выбирай любой. Какой на тебя смотрит?
- Восемьсот пятнадцатый.
- Привет! Отошёл уже.
- Не может быть, – говорю. – Отход на восемь назначен. А сейчас только полдесятого.

Вон у тебя и роль ещё на столе.

- Ой, ну надо же! – захопотала. – Неужели я ещё не отнесла?
- Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет.
- Ты гляди, – один говорит другому, – в Норвежское идут под селёдку. Ну, юмористы!
- Надеются, значит, – отвечает другой.
- Ты шутишь! Какая же в январе селёдка?
- Так это ж не я иду. Это ж они идут.

Девушка мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать. А я дальше – крутиться по карусели. И часа не прошло, как выкрутился – со всеми печатями.

На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал – как рыбёшка в косяке. Снег скрипел под ногами, скрипели доски, и с нами облако плыло, от нашего дыхания; мы в нём шагали, как в тумане. У проходной разделились на два рукава, потекли мимо милицеских. Портовые шли налегке, ну, а меня с чемоданчиком остановили.

Спиртного при мне не было. Даже милиция выразила удивление:

- Небось через проволоку передал?
- Святым духом, – говорю, – по воздуху.
- А много? – смеётся милиция.
- Да штуки три.
- Это ещё не много. Вот сейчас кочегара задержали – восемь поллитров нёс в штанинах.
- Анекдот! – говорю. – Конфисковали?
- Ну, так если вываливаются! Это ж не дело. Надо, чтоб не вываливались.
- Правильно, – говорю.
- Счастливо в море!

Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали – машинист с локомотива, доковые слесаря, девчата с коптильни, с рефрижераторов; я им улыбался, рукой помахивал и шёл себе, не задерживался, пока не упёрся в шестнадцатый причал. Здесь мой «Скакун» стоял – весь в инее, как обсахаренный. Грузчики-берегаши набивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом.

У трапа чужак сучал с вахтенной повязкой – две синих полосы, между ними белая, – поглядывал на берегашей и поплёвывал в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он их приложил к пачке, а сам на мою курточку загляделся.

– Матросом идёшь?

– Матросом.

– Хорошо. – Не знаю, что тут особенно «хорошо», но так уж всегда говорится. – А я третьим штурманом.

– Тоже хорошо.

– Медкомиссию прошёл?

– В этом году не надо.

– А венеролога? Не намотал на винт?

– Ангел меня сохранил.

Ростом третий штурман был меня ниже, а вида ужасно задиристого. Где-то шрам себе заработал через всю щеку. Когда он смеялся, шрам у него белел, и лицо ощеривалось.

– Отойдём сегодня? – спрашиваю.

– В три часа, наверно. А может, завтра. Капитана ещё нет. А ты почему опаздываешь?

- Оформляли долго.
- Оформляли! Дисциплинка должна быть. Курточку не продашь?
- Нет.

– И не надо. Раз опоздал – будешь вахтенным. Повязку надень.

Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел.

– В контору сбегаю. Лоции надо взять. И аптеку.

– Так и скажу, если спросят.

– Ну, молоток! Последи за берегашами. Видишь – как бочки швыряют. Все клёпки разойдутся. Ты покричи, чтоб кранец подкладывали.

– Покричу обязательно.

– Надо, знаешь, хоть покричать.

Мы друг друга поняли. Если кранец подкладывать – покрывку от грузовика, – это же каждую бочку нужно кидать отдельно. Так мы и через неделю не отойдём.

– А заскучаешь, – сказал третий, – на камбузе собачка сидит, Волна, поиграешь с ней.

Сообразительный пёсик.

– Обязательно поиграю.

– А может, махнёшь курточку?

– Нет.

Он сбежал по трапу и скрылся. А я пошёл устраиваться. Кубрики на СРТ – носовые, под палубой. В каютке – дрейфмейстер с боцманом живут; в двух кубриках – на четыре персоны и на восемь – вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего, там аристократия – «Рыбкин»²⁰ поселяется, помощник дрейфмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из «старичков», ветеранов этого парохода. Ну, а я уж как-то на любом судне – молодой, мне туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а на меня – дым коромыслом, пар от горячего камелька, весёлый дух от стола, где трое сидело с дамами.

– Здорово, папуасы!

– Будь здоров, дикарь! С нами идёшь? Присаживайся.

– Нельзя мне. На вахте.

– А что на вахте, богу молятся?

Я поглядел – ни одного знакомого рыла. И койки пока все заняты. Одни – шмотками завалены, а в других лежали по двое, обнявшись намертво, шептались; из-за занавесок выглядывало по четыре ноги: два ботинка, две туфельки. Так он и будет, этот шёпот прощальный, – до самой Тюва-губы. Потому что порт – это ещё не отход. Вот Тюва – это отход. Там мы возьмём *вооружение* : сети, троса, кухтыли, возьмём солярку, уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз потопчем берег. Потом отойдём на середину залива, и к нам причалит пограничный катер. Всех нас соберут в салоне, лейтенант возьмёт наши паспорта и выкликнет каждого по фамилии, а мы отзовёмся по имени-отчеству. Знамо дело, не первый год за границу ездим. А солдаты тем временем обшарят всё судно и выведут этих женщин на палубу – назад отвезти, в порт. Дело уже будет к ночи, в Тюве сколько только можно прокантуемся, хотя там делов часа на четыре, не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим – под нашим бортом, под прожектором, будем орать им: «Ты там смотри, Верка (или Надька, или Тамарка), гулять будешь – узнаю, слухом земля полнится и море тоже, мигом аттестат закрою, и кранты нашей дорогой любви!» А они нам снизу: «Глупый ты, Сенька (или Васька, или Серёга), говори, да не заговаривайся, люди же слушают, когда ж это я от тебя гуляла, я себя тоже как-нибудь уважаю!» И катер нырнёт в темноту, покачивая топовым²¹, повезёт наи-

²⁰ «Рыбкин» – рыбмастер.

²¹ Белый огонь на топе (верхушке) мачты.

вернейших наших жён, невест и подружек, – я за них ручаюсь, с кем-нибудь из этих и я вот так же прощался за занавеской.

Одним словом, койки мне сразу не нашлось, а это худо дело, я вам скажу, койка в море – это твоё прибежище, в ней не только спишь, в ней читаешь книжки и пишешь письма, в ней штормуешься – это значит, лучше, когда она вдоль киля, а не поперек. Но такой уж я невезучий, это надолго. Ладно, я закинул чемоданчик в верхнюю, у двери, и пошел.

И только я показался в капе, уже меня какой-то верзила кличет, в безрукавке-выворотке, без шапки, в шлёпанцах на босу ногу:

– Вахтенный! Флажок почему не поднял?

– Может, он поднят?

– Нет. Мне диспетчер звонит. Надо поднять.

Я влез на ростры²², пробрался между шлюпками к корме и поднял флажок – весь замасленный, линялый, в копоти, – разглядит его там диспетчер в бинокль или нет? Я закрепил фал и спустился. А тот верзила меня ждал внизу, на морозе, приплясывал в своих шлёпанцах. Ну, такому ничего не делается – лицо младенческое, румянец во всю щёку, и в пухлых плечах дремучая, должно быть, силища.

– Новенький, аттестат будешь оформлять?

– Матери в Орёл.

– А бичихи – нету?

– Нет пока.

– И алиментов не платишь? Что ж ты такой?

– Такой уж...

– Ну, и я такой. – Протянул мне ручищу розовую, в крапинах. – Выбери время, зайди. Ножов моя фамилия. Жора. Второй штурман.

– Хорошо.

– Вот так. Свои будем. Стой вахту, не сачкуй.

Зашлёпал к себе вприпрыжку. И тут же меня с берега позвали:

– Вахтенный!

Стоял на пирсе мужичонка, весь в бороде, поматывал концом шланга.

– Воду будем брать ай нет?

– Обязательно, отец.

– Ну дак валяй, откупоривай танки-то. Какой я тебе отец? Я ещё тебя перемоложе.

Хорошо же я выглядел после вчерашнего!

– Вода у тебя – питьевая?

Он для чего-то на шланг поглядел.

– Нет, вроде мытьевая.

Я вывинтил пробку, приладил шланг, махнул ему рукой. Он своему напарнику махнул, такому же бородатому. А тот ещё кому-то. Так и домахались до водокачки.

– Вахтенный! – опять кричат.

Повар кричал с камбуза. Машина привезла продовольствие. Я к ней подвёл лебёдку, петлей обвязал коровью ногу и затянул.

– Вирайте!

Поплыла мороженая нога с причала на камбуз – торжественно, как знамя. Потом ещё мешки перегружали – с картошкой, сухофруктами, вермишелью и чёрт его знает с чем. А только управился – опять голос, с берега:

– Вахтенный!

Стоит – в шляпе, под ней уши мёрзлые, дышит себе на руки.

²² Шлюпочная палуба.

– Кто воду берёт?

– Что значит «кто»? Пароход берёт.

– Кто персонально? Фамилия? Шаляй? Почему, Шаляй, питьевую воду в мытьевые танки заливаете? Очистка денег стоит. Народных. Государственных. За границей, например, за это золотом берут. Валютой.

– Мы ж не за границей.

– Тем более. Значит, себя грабим. Кто это приказал?

– Кто шланг давал, сказал – мытьевая.

– Персонально кто? Не помните. Как же так получается?

А чёрт его знает, как это получается. Все руками махали.

– Что ж теперь, – говорю, – обратно её качать? Тоже деньги. Народные. Государственные. Опять же, чище помоемся, раздражения кожи не будет. Доктора советуют.

Озадачился в шляпе.

– Всё равно – непорядок. Вот как мы это назовём.

Махнул тоже рукой и пошёл. Минуты не прошло, как снова:

– Вахтенный!

Это из рубки старпом – его на отходе вахта. Стоял в окне, как портрет в раме, косил мне глазом на палубу. А там, возле трюма, стоял некто – в барашковой шапке, в пальто с шарфом, в тёплых галошах, руки за спиной, – наблюдал за берегашами, как они бочки швыряют. Так, умаю, сейчас насчёт кранцев будет заливать.

– Ты вахтенный?

Смотрел на меня холодными глазами и морщился. Капитан, конечно, кто же ещё. Они всегда посреди палубы останавливаются, а говорить – не спешат. Капитану в море ещё много чего придётся сказать, ну, а когда он в первый раз на судно всходит, спешить не надо, а надо сказать такое, чтоб запомнили. Чтоб прониклись.

– Скользко на палубе, вахтенный. Люди упадут и ноги переломают.

Так сразу и переломают. А я думал, он насчёт кранцев.

– Сейчас, – говорю, – посыплю.

– Так. А чем будешь посыпать? Солью?

– Нет, – говорю, – это инструкцией запрещено. Надо – песком.

– А он у тебя есть?

– Нет, но достану.

– Новенький, а знаешь. Ну, действуй.

Сказал он своё капитанское слово и пошёл к себе в каюту, легонько этак пошатываясь. А я взял лопату, пошёл к бочке с солью и стал её сыпать. Новенький, а знаю. И он тоже знает. Это один гений в газете написал, что от соли настил гниёт. И напечатали. Не спросили только – а чем её, палубу, в море поливает, не солью? Потому что – борец за экономию. Как будто, если я её песком посыплю, это дешевле выйдет. Песок зимой дороже, чем соль. А летом и посыпать не надо.

Ну так, я с этим покончил, больше никто меня не звал, и сел я на комингс трюма перекурить. Кто-то выполз из кубрика, пошатался в капе, к трюму подошёл и стал над люком. Я вскочил и отодвинул его на полшага.

– Отодвигаешь меня? Ты главный тут?

– Не главный, но вахтенный. Свалишься – мне же отвечать.

Тут одна бочка выпала из контейнера, ещё с высоты, и раскололась по всем клёпкам. Не знаю отчего, так же и другие падали. Обруч небось был перержавленный.

Вдруг этот, кто выполз, так усмехнулся лениво и сгрёб меня за куртку. Задышал мне в лицо гнилью зубной, да с перегаром.

– Вахтенный, а не смотришь. А я за бочки с тебя спрошу, понял. Потому что я – бондарь.

– Пусти, – говорю, – порвёшь.

А он, хоть и косою был вдвину, но мёртво держал, сильнее был меня трезвого. И так смотрел из-под серых своих бровей, с такой медвежьей злобой, как будто убить хотел.

Из берегашей один, который внизу стоял, на укладке в трюме, сказал:

– Что вы, ребята, как не стыдно? Вы ж в море вместе идёте, должны быть, как братовья.

– Ты помалкивай там, – сказал ему бондарь. Но всё же куртку отпустил. Зато кулак поднёс к самому моему лицу. – Убивать таких братовьёв.

И пошёл обратно в кубрик. Берегаши работу оставили, смотрели вслед ему. Тот, в трюме, спросил:

– Слышь, вахтенный, неужели из-за бочки? Ну, стоит она? Может, чего по-крупному не поделили?

– Чего нам делить? Первый раз его вижу.

– Вот дела! Не, тогда лучше не ходить вместе.

Действительно, я подумал, дела. Ведь тут ничего не попишешь, если не понравились двое друг другу на пароходе. Не из-за бочки, конечно, а просто рылами не сошлись. В море и те, кто нравится, мало-помалу осточертеют. А тут мы рейс начинаем врагами. Даже не поймём, отчего. Может, и правда, не ходить с ним?

– Слышь, вахтенный, – сказал мне тот, из трюма, – я подумал: в общем-то на это плюнуть. Ну, это ж он – спяну.

– Да чепуха, – говорю, – есть о чём говорить!

– Ну, правильно. Слышь, а пошарь там, на камбузе – хлебца не найдётся ли? Есть захотелось.

Ох, эти берегаши. Вечно у моряков чего-нибудь клянчат. Как будто прорва бездонная на пароходе.

– Ладно, пошарю.

– Будь ласков. Может, и мяску найдёшь? Или там курку?

На камбузе у кандея²³ пыхтела кастрюля на плите, и два помощника чистили картошку. Сам кандей собачку кормил из миски – рыженькую такую, пушистую, глазёнки выпуклые, лобик с зачёсиком. Она не ела, а прямо отведывала. И ушками-то всё прыдала, и поджимала лапку. Не верила, что всё так хорошо.

– Рубай, Волна, веселей, – кандей её подбадривал. – Скоро тебе на вахту идти.

Всех портовых собак зовут Волна. А если кобель, то – Прибой. В Тюва-губе она, конечно, сбежит. Не такие они дураки, портовые пёсики, с нами в море идти. У них программа чёткая – за кем-нибудь увяжутся, чувят судового человека, и по нескольку дней живут на пароходе в тепле и в сытости, только бы уши не оборвали от широты души. А в Тюве – сбегают на берег и на попутных возвращаются в порт. Я всё понять не мог, как же они различают: кто в море идёт, кто в порт, ведь к одному причалу подходят. А наверно, по запаху – с моря-то трезвые возвращаются. Ну, и настроение другое.

Я спросил у кандея, нет ли чего для берегашей. Он повздыхал, но вынул из кастрюли кус мяса и завернул в газетку, вместе с буханкой чёрного.

– А сам не покушаешь?

Я со вчерашнего не ел, но как-то и не хотелось.

– Ну, хоть компоту порубай, – дал мне полкастрюли и черпак. – Докончи, всё равно мне новый варить.

Сам он только папиросу за папиросой курил. Худющий, лицо страдальческое, в морщинах. Язву, поди, нажил на камбузах.

²³ Повар (рыбацкий сленг).

Я ел нехотя и поглядывал на его помощников, как они картошку чистят. Каждый глазок они вырезали – это у кандея и завтра не будет готово. Они-то, конечно, старались, но – медленно. А мы не работаем медленно. Мы, чёрт нас задери, всё делаем быстро. Потому что удовольствия мало картошку чистить. Или бочки катать. Вот узлы вязать – это другое дело, это я люблю. Но тут ведь всё удовольствие – что делаешь это быстро. А картошка – это, как говорил наш старпом из Волоколамска, «работа не для белого человека».

Один заметил, что я смотрю, смущённо мне улыбнулся, откинул со лба белёсую прядь. Он славный мне показался, хоть и дитя ещё пухлогубое.

– Что, – спрашиваю, – рука онемела?

– Да нет, чепуха.

Салаги они, я сразу понял. Моряк старый, конечно, сознался бы, ничего нет зазорного. Я кинул черпак в кастрюлю, взял у него ножик, показал, как чистить. Чик с одного боку, чирик с другого – и в бак.

– Так же много отходов, – говорит он.

– Ну, чисти по-своему.

Второй – смуглолицый, раскосый, как бурят, – посмеялся одними губами.

– Друг мой Алик, всякая наука благо, скажи спасибо.

– Спасибо, – Алик говорит.

Из салона вышел малый в кепчонке, в лыжной замасленной куртке, взял кочергу и сунул в топку. Потом посчитал, сколько нас тут на камбузе.

– Шура! – крикнул туда, в салон. – Четырёх учти.

– Я не в счёт, – говорю ему. – На вахте.

– Сиди ты! Вахтенному – полуторную. – И, не улыбаясь, наморщенный, угрюмый, сунул мне пятерню. – Фирстов Серёга. Компоту оставь запить.

Алика отчего-то вдруг передёрнуло. И сказал как-то виновато:

– Пожалуй, и я не в счёт... Я этого не пью. Ни разу, впрочем, не пил.

Раскосый опять посмеялся чуть-чуть.

– Ах, он у нас предпочитает шампанское.

– Разбейся с вами, котятками, – сказал Серёга, – кто чего не пьёт...

Кочерга накалилась, он прикурил от неё и пошёл в салон. Мы тоже пошли. А Шура уже там распечатал ящик с одеколоном – «Маки» – и сливал из флаконов в чистый котелок. Двадцать четыре флакончика стограммовых – это команде на бритьё, но никто ещё с ними не брился, всё палубные выпивают в день отхода. Штурмана на это не посягают, у них своё законное – спирт из компаса, три с чем-то литра на экспедицию, потом они всю дорогу механикам кричат: «Топи веселей, картушка²⁴ примерзает!»

Шура весёлыми глазами смотрел, что там творится в котелке. А кандей тем временем шлюпочный аварийный ящик вскрывал, с галетами.

Рядом с Шурой стояла девка – молоденькая, нахмуренная, – держалась за его плечо.

– Шура, – просила его, – когда ж со мной поговоришь?..

Он только плечом подёргивал. А она даже нас не замечала, только его и видела одного. Ну, я б на её месте тоже по сторонам не заглядывался: такой был парень красивый – глазастый, темнобровый, зубы жемчужные. Он, поди, и сам своей красоты не знал, а то бы девки за ним по всем причалам пошли толпою. Да может, и ходили. Но всё равно, наши ребята себя не знают. Вот и Серёга был бы ничего, – хотя не сравнить его с Шуркой, – чёрен, как дёготь, и притом синеглазый, это редко встретишь, но уж как рыло своё угрюмое наморщит, лет на десять ему больше дашь.

²⁴ Картушка – градуированный диск компаса, насаженный на иглу и плавающий в незамерзающей жидкости – обычно в разбавленном спирте.

Шура из котелка разлил по кружкам и мне почему-то первому поставил:

– Хватани, кореш.

Сам же не брал себе, пока все не расхватали. Смотрел на меня, улыбался мне весело. Вот с ним-то мы поладим. И с Серёгой, наверное, тоже. Не знаю, как объяснить вам, отчего я это почувствовал.

– Сам откуда, кореш?

– Орловский.

– Ну, ты даёшь! Земляки почти, я изо Мценска. Давай, земля, грохнем.

Даже его провожающая поглядела на меня милостиво. Мы грохнули, она тоже пригубила из его кружки и сморщилась, замахала рукою возле рта. Мы слегка пригорюнились, быстренько запили компотом и потянулись за галетами. Салаги долго не решались, смотрели на нас – не умрём ли? Нет, живы, – потом раскосый глотнул всё разом, подобрал живот и выдохнул в подволок. Алик же пил судорожными глоточками и плавился, истекал слезами.

– Ничего, – сказал Шура, – с ходу оморячились.

Алику, однако ж, плохо сделалось, хотя он и улыбался геройски. Кандей вскочил и увёл его в камбуз. Мне тоже пора было идти.

– Да посиди, земля, – сказал Шура, – не украдут пароход.

Провожающая взглянула на меня исподлобья.

– Ну, раз ему на вахту... Вы потом, в экспедиции наговоритесь.

Я взял свёрток и вышел. Берегаши, конечно, не грузили, ждали меня и тут же сели закусывать.

– Ступайте, ребята, в салон, – я им сказал, – там тепло и есть чего выпить.

Они подумали и отказались.

– Да чо там, нам всё равно бесполезно, по холодку выдохнется. А вы уж почувствуйте, как подobaет, ведь три месяца будете трезвенники.

– Это верно. Три с половиной.

Я ушёл на полубак, сел там на бочку, дымил и поглядывал на причал. Я ещё не потерял надежды, что она придёт. В прошлый раз она тоже опаздывала, успела к самому отплытию. Вот разве очкарик не передал ей, что я звонил. Но какой ему резон – если я ухожу? И с кем же он тогда шептался?

До Полярного недолго было и сбегать или позвонить из диспетчерской, но чёртова повязка меня связала по рукам, по ногам. Кому её передашь, у каждого эти минуты последние. Просто сбегать, и всё? Никто особенно не хватится, покричат – другого найдут. Но не в том дело, хватятся или нет, а тут у меня определённый свих, я не могу объяснить. Так, наверное, заведено: одним – жить в тепле, другим – стынуть и мокнуть. Вот я родился – стынуть и мокнуть. И с вахты не сбегать. Я сам это себе выбрал, тут никто не виноват.

Уже смеркалось, когда снова позвали:

– Вахтенный!

Было начало четвёртого, а к причалу никто не спешил – я бы издалека увидел.

11

Позвал меня «дед». Он возился под рубкой, доставал из-за лебёдки шланги и футшток – готовился к приёмке топлива, что в Тюве будем брать. И сказал мне, не оборачиваясь:

– Сейчас прилив начнётся, швартовые не забудь ослабить.

– Не забывал до сих пор.

«Дед» повернулся, оглядел меня всего.

– А мне сказали – новенький на вахте. Давай-ка остаток замерим.

Он вывинтил пробку в танке, я туда вставил футшток, упёр его в днище и вытянул. «Дед» стоял, наклонясь, и смотрел.

– Сколько там?

Он, значит, не различал делений. А мне они были видны с полного роста, да и не так ещё стемнело. Я стал на корточки и пощупал – где мокро от солярки.

– Тридцать пять вроде...

– Я так и думал. Завинчивай.

– «Дед», а почему ты сам замеряешь? Мотыля мог бы послать.

– А я не сам, – сказал «дед». – Ты вот мне помогаешь. Ничего, я их в море возьму за жабры. Как довели тебя, в норме?

– Спасибо.

– Мне-то за что? А деньги – ты не тужи об них, деньги наших печалей не стоят. Ну, вперёд будь поосторожней.

Я засмеялся. Вот и вся «дедова» нотация. За что я его и любил.

– Зайдёшь ко мне? – спросил «дед». – Опохмелиться же надо.

– Да я уже, вроде бы...

– Чувствуется. Пахнешь, как балерина.

– Зайду.

На СРТ у троих только отдельные каюты: у кепы, стармеха и радиста. Штурмана – и те втроём живут. Но «маркони» тут же и аппаратуру держит, это его рабочее место. А фактически – у двоих, одна против другой. «Дед», как говорят, «вторая держава на судне». И к нему в каюту никто не ходит. Даже к капитану ходят – по тем или иным вопросам, а к «деду» один я ходил, и на меня за это косились. И на него тоже. Но мы на это плевали.

«Дед» к моему приходу разлил коньяк по кружкам и нарезал колбасу на газетке.

– Супруга нам с тобой выставила, – объяснил мне. – Жалела тебя вчера сильно.

– Ненил Васильну я, жалко, не повидал. Проводить не придёт?

– Она знает, где прощаться. На причале – одно расстройство. Ну, поплыли?

Я сразу согрелся. Только теперь почувствовал, как намёрзся с утра на палубе.

– Кой с кем уже познакомился? – спросил «дед».

– Кеп – что-то не очень мне...

– Ничего. Я с ним плавал. Это у тебя поверхностное впечатление.

– Да бог с ним, лишь бы ловил.

– А вообще, народ понравился?

Я пожал плечами.

– Не хочется плавать? – спросил «дед». – Тебя только деньги и тянут в море?

Я не ответил. «Дед» снова налил по кружкам и вздохнул.

– Вот я чего решил, Алексеич. Я тебя весь этот рейс на механика буду готовить. Поматросил ты – и довольно. Это для тебя не дело.

Я кивнул. Ладно, пусть он помечтает.

– Ты пойми, Алексеич, правильно. Матрос ты расторопный, на палубе ты хорош. Но работу свою – не любишь, она тебя не греет. Оттого ты всё и качаешься, места себе не находишь. И нельзя её любить, скоро вас всех одна машина заменит – она и сети будет метать, и рыбу солить.

– Это здорово! Только я ни черта в твоей машине не разберусь.

– У меня разберёшься! Да не в том штука, чтоб разобраться. А чтобы – любить. Я тебя жить не научу, сам не научился, но дело своё любить – будешь. Дальше-то всё приложится. Ты себя другим человеком почувствуешь. Потому что люди – обманут, а машина – она как природа, сколько ты в неё вложишь, столько она тебе и отдаст.

Я улыбнулся «деду». Под полом частило гулким, ровным стуком, кружки на столике ездили от вибрации. Света мы не врубили, и не нужно было, в «дедовой» каютке любую вещь достанешь сидя, – но я увидел в полутьме его лицо. Тепло ему тут жилось, наверно, когда она день и ночь стучит внизу.

– Что ты! – сказал «дед», как будто услышал, о чём я думаю. – Я как попал в свою карусель, когда народ от всех святынь отдирали с кровью, я только и ожил, когда меня к машине поставили.

– А что она делала, та машина?

«Дед» пододвинул мне кружку и сказал строго:

– Худого она не делала, Алексеич. Асфальтовую дорогу прокладывала через тайгу.

– Зверушек, наверно, попугали там?

– Каких таких зверушек?

– Да это я так...

Просто я вспомнил – мне рассказывал один, как они лес валили зимой, где-то в Пошехонье, и трелёвочными тракторами выгоняли медведей из берлог. Я себе представил этого мишку – вылезает он из тёплой норы, облезлый, худющий, пар от него валит. Одной лапой голову прикрывает от страха, жалуется, плачет, а на трёх – улепётывает подальше – искать себе новую берлогу. А лесорубы, здоровые лбы, идут за ним оравой, в руках у них пилы и топоры, и кричат ему: «Вали, вали, Потапыч!..» Хорошо бы узнать, находят себе мишки новую берлогу или нет. Зимой ведь не выроешь...

– Я тебе серьёзно, – сказал «дед», – а ты мне про зверушек.

Мне отчего-то жалко стало «деда», так пронзительно жалко. Я и вправду решил к нему пойти на выучку. Может быть, что-нибудь из меня и выйдет.

– «Дед», не обижайся. Я ради тебя чего только не сделаю.

Тут меня позвали с палубы.

– Ступай, – сказал «дед».

Когда я уходил, он, сутулый, сидел в темноте за столиком и смотрел в окно. Потом стал убирать недопитую бутылку и кружки.

– Куда делся, вахтенный? – старпом стоял в окне рубки. Был он, наверно, из поморов – скуластый, широконосый, с белыми бровками. И очень важничал, переживал свою ответственность. – Я тебя час зову, не откликаешься.

Час – это значит он два раза позвал. Я в таких случаях не спорю, это самое лучшее.

– Не ходи никуда, сейчас отчаливать будем. Люди все на месте?

– Кто пришёл, тот на месте.

– Отвечаешь не по существу вопроса.

А что ему ответишь? Не пошлёт же он меня в город, если кто и опоздал. В Тюва-губе нагонят.

Ещё два человечка спрыгнули с причала, с чемоданчиками в руках, и тут же скрылись в кубрике. Потом показался третий штурман – с белым мешком за спиной. Не с мешком, а с наволочкой. В ней он, верно, лощи приволок и аптеку, он же на СРТ и за доктора. Лекарств у него там до едрёной фени, каких хочешь, но на все случаи жизни – зелёнка и пирамидон, других он не знает. Зелёнка – если поранишься, а пирамидон – так, от настроения. А больше мы в море ничем не бодем.

За третьим – женщина прибежала, в пальто с лисой и в шляпе. Как раз у трапа они и начали обниматься. Женщина большая, а штурман маленький. Он её за талию обнимал, она его за шею. Едва отпустила живым, набрасывалась, как прямо тигрица. Третий прыгнул на палубу и помахал ей морской отмашкой. Глаза у него блестели растроганно.

– Иди, – сказал ей нежно, – простудишься.

Она постояла, как статуя, и пошла.

– Хороша? – спросил он меня. – За полторы сойдёт, верно?

– За двух.

– Сашкой зовут. Вчера познакомились.

Я кивнул.

– Слышал новости? Отзовут нас с промысла, рейс не доплаваем. Точно, мне в кадрах верный человек сказал.

– Это почему отзовут?

– А не ловится селёдка.

– Неделю назад ловилась.

– Неделю! За неделю, знаешь, что может произойти? Землетрясение! Чёрт-те чего! Я те говорю – отзовут.

Новости, конечно, самые верные. Одна баба слышала и кореш подтвердил. Всегда перед отходом ползают какие-то слухи: отзовут, не доплаваем, вернёмся суток на двадцать раньше. Иногда и правда отзывают. Но я сколько ни плавал, день в день приходил, на сто пятые сутки.

– Что ж, – говорю, – приятно слышать.

– Вот! Ты со мной не спорь. Как насчёт курточки?

– Всё так же.

– И зря. Отнеси мешок в штурманскую.

– Не понесу. Это твоё дело. А я с палубы не могу уйти.

– Ну, знаешь... Резкий ты парень!

Он поднял воротник на шинели, вскинул наволочку и побежал, полусогнутый.

– Вахтенный! – старпом позвал из рубки.

– Ну?

– Не «ну», а «слушаю». Убрать трап!

С берега мужичонка в шапке набекрень подал мне трап. Больше никого на пирсе не было. Над всей гаванью заревело из динамиков:

– Восемьсот пятнадцатый, отходите! Восемьсот пятнадцатый, отдавайте концы!

Старпом в рубке горделиво стоял у штурвала. Рад был, что кеп ему доверил отчаливать.

– Вахтенный, отдать кормовой!

Тот же мужичонка подал мне конец, и я вышел под рубку, ждал, когда борт отвалит от стенки.

– Что молчишь? – спросил старпом. – Конец отдал?

– Порядок, – говорю, – можешь отчаливать.

– Надо говорить: «чисто корма!»

– Знаю, как надо говорить. Только надоело.

Чудо, что за пароход. Как будто я один отчаливал. Не считая, конечно, старпома.

Машина встрясла всю палубу, и винт под кормой всхрапнул, взбурился чёрную грязную воду. Борт начал отходить, и я пошёл на полубак. Старпом мне крикнул вдогонку:

– Отдать носовой!

Опять мы с тем же мужичонкой встретились. Он сделал своё дело, похлопал себя рукавицами по груди, по ляжкам и сказал мне:

– Счастливо те в море, парень!

– Ага, бывай, отец.

Мы уже отошли на метр – в слабом свете плескалась мазутная волнишка между бортом и стенкой, кружились щепки и мусор, и я пошёл закрепить леер – где раньше был трап. Вдруг меня оттолкнули – какая-то девка, с плачем, охая, кинулась с борта на причал. Едва-едва достала до пирса носочками – и испугалась отчаянно, заплакала навзрыд. За нею выскочил Шура – в одной рубашке, без шапки. Он ей орал:

– Мне всё про тебя скажут, не думай, не утаишь!

– Шура! – она шла по причалу, прижав руки к груди, платок ей закрывал половину лица. – Как ты так можешь говорить! В гробу я с ним лежала!

– Я тя люблю, поняла, но услышу про твоего Венюшку – гад буду, всё тут кончится!

– Шура!

Она отставала, уплывала назад – и скрылась за рубкой. Я закрепил леер. Шура стоял рядом, ругался по-страшному и мотал головой.

– Жена? – я спросил.

– Да только расписались.

– Зря ты с ней так, девка же тебя любит.

– Любит!.. А ты чо суёшься? Твоё дело? – Но скоро он успокоился, заулыбался даже. – Ничего, для любви не вредно пошуметь. Всё равно она завтра в Тюву прискочит. А нет – тоже неплохо. Громко попрощались, запомнит.

Причал уходил вдаль, за корму, надвигались и уходили другие причалы, корпуса пароходов. Вода, чёрная, как дёготь, поблескивала огоньками. Над рубкой у нас три раза взревел тифон. Низко, протяжно. Кто-то издали откликнулся – судоверфь, наверно, и диспетчерская.

– Раньше не так было, помнишь? – сказал Шура. – Весь порт откликался. Аж за сопки провожали.

Он вздрагивал от холода, но не уходил, смотрел на порт.

– А тебя почему не проводили? Времени не нашла?

– Не смогла.

– Убить её мало. Сходи погрейся, я за тебя постою.

– Не надо.

– Ну и стой, дурак. – И пошёл в кубрик.

Мы шли мимо города, проходили траверз «Арктики», потом траверз Володарской, – промелькнула в огнях, стрелой, направленной в борт, и отвернула назад. С другого борта уходил Абрам-мыс, высоко на сопке мелькнуло Нинкино окошко. Потом – пошла Роста.

– Слышь, вахтенный, – старпом позвал. – В Баренцевом, сообщают, шторм восьмibalль-ный. Повезло нам. До промысла лишний день будем шлёпать.

– Нам всегда везёт. Чем ни хуже, тем больше.

– А ты чего такой злой? Тоже не поладил с бабой?

– Я не злой. Это у тебя поверхностное впечатление.

– Ишь ты! Ладно, притрёмся. Иди спать пока, до Тювы ты не нужен.

Но я не сразу ушёл, а покурил ещё в корме, на кнехте сидя. Здесь шумела струя от винта, переливалась холодными блёстками и отлетала во тьму, и лицо у меня деревенело от ветра. Ветер шёл от норда – в Баренцевом и правда, наверно, штормило. Но мы ещё не завтра в него выйдем, завтра весь день – Тюва. Если я сильно захочу, можно ещё оттуда вернуться...

Мы шлёпали заливом, лавировали между тёмными сопками, покамест одна не закрыла напрочь и порт, и город, и огоньки на Абрам-мысу.

Встречным курсом прошлёпал кантовочный буксирчик²⁵ – сопел от натуги, домой спешил. Кранцы висели у него по бортам, как уши. На нём тоже можно было бы вернуться, если сильно захотеть.

Прошла его корма, я на ней разглядел матроса – в ушанке и чёрном ватнике. Он, как и я, сидел там на кнехте, прятал сигарку от ветра. Увидел меня и помахал рукой.

– Счастливо в море, бичи!

Я бросил окурок за борт и тоже ему помахал. Потом ушёл с палубы.

²⁵ Эти буксирчики разворачивают (кантуют) в портах или в других узкостях большие суда.

Глава вторая Сеня Шалай

1

Весёлое течение – Гольфстрим!..

Только мы выходим из залива и поворачиваем к Нордкапу, оно уже бьёт в скулу, и пароход рыскает – никак его, чёрта, не удержишь на курсе. Зато до промысла по расписанию шлёпать нам семеро суток, а Гольфстрим не пускает, тащит назад, и получается восемь – это чтобы нам привыкнуть к морю, очухаться после берега. А когда мы пойдём с промысла домой, Гольфстрим же нас поторопит, поможет машине, ещё и ветра подкинет в парус, и выйдет не семь, а шесть, в порту мы на сутки раньше. И плавать в Гольфстриме веселей – в слабую погоду зимой тепло бывает, как в апреле, и синева, какую на Чёрном море не увидишь, и много всякого морского народу плавает вместе с нами – касатки, акулы, бутылконосы, – птицы садятся к нам на реи, на ванты...

Только вот Баренцево пройти, а в нём зимою почти всегда штормит. Всю ночь гроыхало бочками в трюме и нас перекачивало в койках. И мы уже до света не спали.

Иллюминатор у нас – в подволоке, там едва брезжило, когда старпом рявкнул:

– Па-дъём!

К соседям в кубрик он постучал кулаком, а к нам зашёл, сел в мокром дождевике на лавку.

– С сегодняшнего дня, мальчики, начинаем жить по-морскому.

Мы не пошевелились, слушали, как волна ухаёт за бортом. Один ему Шурка Чмырёв ответил, сонный:

– Живи, кто тебе мешает.

– Работа есть на палубе, понял?

– Какая работа, только из порта ушли! Чепе²⁶ какое-нибудь?

– Вставай – узнаешь.

– Не, – сказал Шурка, – ты сперва скажи, чего там. Надо ли ещё вставать или мне сон хороший досмотреть.

– Кухтыльник²⁷ сломало, вот чего.

– Не свисти! Сетку, что ли, порвало?

– Не сетку, а стойку.

– Это жердину, значит?

– Ну!

На нижней койке, подо мною как раз, заворочался Васька Буров, артельный. Он самый старый у нас и с лысиной, так мы его с ходу назначили главным бичом – лавочкой заведывать.

– Что же ты за старпом? – говорит Васька. – Из-за вшивой жердины всю команду перебудил. Одного кого-нибудь не мог поднять.

– Тебя, например?

– Не обязательно меня. Любого. Волосан ты, а не старпом!

Ну, тот озлился, конечно, весь пошёл пятнами.

²⁶ ЧП – чрезвычайное происшествие.

²⁷ Кухтыльник – сетчатая загородка для надувных поплавков (кухтылей). На СРТ располагается под окнами ходовой рубки.

– А моё дело маленькое, сами там разбирайтесь. Мне кеп сказал: найдётся работа – всех буди, чтоб не залёживались.

– Я и говорю – волосан. Кеп сказал, а работы – нету. А ты авралишь.

Старпом поскорей смылся. Но мы тоже не улежали. Покряхтели да вышли. На судне ведь ничего потом не делается, всё сразу. Хотя кухтыльник этот и не понадобится нам до промысла.

Горизонта не видно было, сизая мгла. Волна – свинцовая, с белыми гребнями, – катилась от норда, ударяла в штевень и взлетала толстым, жёлто-пенным столбом. Рассыпалась медленно, прокатывалась по всей палубе, до рубки, все стёкла там залепляла пеной и потом уходила в шпигаты не спеша, с долгим урчанием. Чайки носились косыми кругами с печальным криком и присаживались на волну: в шторм для них самая охота, рыба дуреет, всплывает к поверхности. И заглатывают они её, как будто на неделю вперёд спешат нажраться: только мелькнул селёдкин хвост в клюве – уже на другую кидаются. Смотреть тошно.

Мы потолкались в капе и запрыгали к кухтыльнику. Ничего там такого не сделалось, стойку нужно было выпилить метра в полтора, обстругать и продеть в петли. Работы – одному минут на двадцать, хотя бы и в шторм. Но мы-то вдевьером пришли! Это значит, на час, не меньше. Потому что работа – на палубе, а кто её должен делать? Один не будет, если восемь останутся в кубрике. Он будет орать: «Я за вас работаю, а вы ухо давите!» И пошла дискуссия.

В общем, и полутора часов не прошло, как управились, пошли в кубрик сушиться. А кто и сны досыпать, кандей ещё на чай не звал. И тут, возле капа, увидели наших салаг – Алика и Диму, которых с нами не было на работе. Алик, как смерть зелёный, свесился через планширь и травил помалу в море. А Дима его держал одной рукой за плечо, а другой сам держался за вантину²⁸.

Дрифмейстер, который всей нашей деятельностью руководил, сказал ему, Диме:

– На первый раз прощается. А вперёд запомни: когда товарищи выходят, надо товарищам помогать.

Дима повёл на него раскосым своим, смешливым глазом.

– Я вот и помогаю товарищу.

– Травить помогаешь? Работа!

Дима сплюнул на палубу и отвернулся. И правда, говорить тут было не о чем. Но дрифтер чего-то вдруг завёлся. Он ещё после кухтыльника не остыл.

– Ты не отворачивайся, когда с тобой говорят, понял?

– Со мной не говорят, на меня орут, – Дима ему отвечал через плечо. – А я в таких случаях не отвечаю. Или отвечаю по-другому... На первый раз прощается.

Дрифтер как вылупил рачьи свои глаза, так и застыл. У него даже шея стала красной. Он, правда, и не орал на салагу, просто у него голос такой, ему по ходу дела много приходится орать на палубе. Но салага всё равно был на высоте, а дрифтер уж лучше молчал бы. Вообще, он мне понравился, салага. Он мне ещё в Тюве понравился, когда сети грузили. Понюхал и сказал Алику: «Лыжной мазью пахнут». Сколько я их перетаскал, а вот не учуял – и в самом деле, лыжной мазью.

– Ты сперва руку брось с вантины! – Дрифтер уже и впрямь заорал, стал над ним с кулачищами. У нас ещё боцмана бывают дробненькие, ну а дрифтеру всю палубную команду нужно в кулаке держать, так что кулаки у него дай бог. – А то ещё на трёх ногах стоишь на палубе!

– Пожалуйста, – сказал Дима. И руку убрал. С вантины.

Тут из ребят кто-то, Шурка вроде Чмырёв или Серёга Фирстов, толкнул дрифтера, увёл в кап, и мы все хором скинулись по трапу в кубрик. Сели в карты играть, покамест кандей не позовёт. Серёга достал засаленную колоду и раздал по шестям. Пришёл ещё боцман наш, Кеша Страшной – ну, на самом-то деле он не страшной, а симпатичный, в теле мужичок, с

²⁸ Вантина – или ванта – трос, раскрепляющий мачту от бокового изгиба. Крепится нижним концом к борту или к палубе.

чистым лицом, как с иконы, в довершение ещё бороду начал растить. До порта побалуется, а там жена всё равно потребует сбрить. О чём мы тут заговорили? Да, боцман-то и начал мораль нам читать – на что мы время золотое тратим, карты у нас с утра, лучше бы книжки читали.

– Всё поняли, – Шурка ему говорит, – садись теперь с нами, а то у нас игра не заладится.

– Вот кеп вас застукает, он вам наладит игру. – Боцман взял карты, разобрал их и вздохнул. – Вообще-то на судне не положено. Это игра семейная.

– А мы что, не семья? – спросил дрифтер. – Мы же и есть семья!

Тут как раз и явился Дима, взял полотенце с койки и сказал – так что все мы услышали:

– Семья! Пауки в банке, а не семья.

Мы положили карты лицом вниз и поглядели на него. Он был хмурый и матовый от злости.

– Ну, как он там? – спросил дрифтер про Алика. – Всё дразнит тигра?

– Не понимаю шуток, – сказал Дима. – Человеку плохо, а вы зубы скалите. Что за подончество!

Сказать между нами, дрифтер-то спросил из самого милого сочувствия. Он уже забыл начисто, как он орал на палубе. И из-за чего орал. Потому что палуба – одно, а кубрик – другое. Там свои интриги, а в кубрик пришли – всё забыто, сели играть, ходи с шестёрки. Но салага-то этого не знал.

– Ты озверел? – у дрифтера глаза на лоб полезли. – Чем я тебя обидел?

– Да нет, всё в порядке. Это я тебя обидел. Если не повторится, возьму свои слова назад.

Дима кинул полотенце через плечо и пошёл. Мы опять взяли карты. Но что-то нам уже не игралось.

– Берут же инвалидов на флот! – сказал дрифтер. – И мытарься с ними. Ещё и рот разевают, дерьма куски.

Я положил карты снова лицом вниз и сказал ему:

– Ты, дриф, ещё не понял, что ты сам кусок? Ты этого на палубе не понял? Так я тебе здесь, в кубрике, могу объяснить.

– Ну, кончили, – Шурка поморщился. – Не заводись.

Но я уже завёлся. Меня вот это дико бесит – как мы друг к другу относимся.

– Салага тебе урок дал – другой бы со стыда помер. Но ты не помрёшь, не-ет! С таким-то лбом стоеросовым – жить да радоваться.

– Ладно, они тоже не помрут, – сказал боцман. – Злее будут.

– Зачем же злее, боцман?

– На СРТ пришли, тут им не детский сад.

– А, ну валяйте тогда. О чём ещё с вами говорить!

– Нет уж, поговорим, Сеня, – сказал дрифтер. Лицо у него побелело, ноздри раздулись. – Ты же мне объяснить хотел. А не объясняешь. Только ругаешься. Лучше-ка вот я тебе объясню. Ведь мы, Сеня такие деньги получаем – ты их нигде не заработаешь: ни в колхозе, ни на заводе. Значит, работать надо со всей отдачей. Так мы ещё с салагами должны возиться, учить их по палубе ходить? Они-то что думали – придут на траулер и сразу нам будут помощники? Нет, Сеня, они этого не думали. А это, как ты считаешь, по-товарищески? Они моряками станут, когда мы последний груз наберём и в порт пойдём – денежки считать. Вот где от них помощь-то будет! А покамест они нам – на шее камень. Они это должны усвоить. И рот не разевать, когда их уму-разуму учат.

– Ты научишь! В ножки тебе поклониться за такое учение.

– Валяй тогда сам учи. Если такой добрый.

Плечи у него выперли тяжело под рубашкой. И всё он сверлил меня глазками. Устал я с ним говорить.

– С отдачей – это как, дрейф? Доску всем хором приколачивать? А кто не вышел – всем хором на того и кидаться? Не будет у нас этого на пароходе!

Боцман засмеялся, сказал, глядя в карты:

– Откуда ты знаешь, Сеня, как у нас будет на пароходе? Как сложится, так и будет.

Васька Буров на своей койке вздохнул, отвернулся лицом к переборке.

– Охота вам лаяться, бичи, на пустое брюхо. Чаю попьём – и лягитесь тогда до обеда. А так-то скучно.

– И правда, – Серёга стал собирать карты. – Что-то не шевелится кандей.

В кубрике ещё один сидел, Митрохин некто. Совсем унылая личность. Я только заметил за ним – он с открытыми глазами спит. Даже ответить может во сне, такой у человека талант. Но хуже нету, если он тебя на вахте сменяет. Будят его ночью: «Коля, на руль!» – «Ага, иду». Тот, значит, возвращается в рубку, стоит за него минут пятнадцать, потом отдаёт руль штурману, снова приходит будить: «Коля, ты озверел? Ты же не спишь, дьявол!» – «Нет, говорит, иду уже». И спит при этом дремучим сном.

Так вот, он сидел, слушал, морщины собирал на лбу, потом высказался:

– А вообще у нас, ребята, этот рейс не сложится.

Дрифтер повернулся к нему, его стал сверлить.

– Как это – не сложится?

– А не заладится экспедиция. Всё как-то сикось-накось пойдёт. Или рыбы не будет.

Только не возьмём мы план.

– Свистишь безответственно! Ты скажи – какие у тебя предчувствия?

– Не знаю. Не могу точно сказать.

– А свистишь!

Митрохин опять в свои думы ушёл, лоб наморщил. Может, у него и в самом деле предчувствия, я чокнутым верю. Всем как-то грустно стало.

Я поднялся, вышел из кубрика. Наверху, в гальюне, Алик стоял над умывальником, а Дима, упёршись ногой в комингс, держал его за плечо, чтоб его не било о переборки.

– Полегчало?

Алик поднял мокрое лицо, улыбнулся через силу. Он уже не зелёный был, а чуть бледный, скоро и румянец выступит.

– Господи, сколько волнений! Это ведь со всеми бывает!

– Со всеми. С одними раньше, с другими – потом.

– И с тобой тоже было?

– И со мной.

Он поглядел в дверь на сизую тяжёлую волну и сам потемнел.

– Ты не смотри, – я ему посоветовал. – Вообще, приучайся не смотреть на море.

– Это интересно, – Алик опять улыбнулся. – Зачем же тогда плавать?

– Не знаю, зачем ты пошёл. Меня бы спросил на берегу – я бы отсоветовал.

– Как-то ты нам не попался, – сказал Дима.

Алик утёрся полотенцем и сказал бодро:

– Всё нужно пережить. Зато я теперь знаю, как это бывает.

– Да, – говорю, – повезло тебе.

Он и не узнал, как это бывает. Со мной-то не было, но я других видел. В армии мы как-то вышли на крейсере на учения, и – шторм, баллов на девять. Эти-то калоши рыболовецкие вместе с волной ходят, валяет их с борта на борт, а на крейсере из-под тебя палуба уходит – будь здоров, как себя чувствуешь. Одного новобранца как вывернуло – он десять суток в койке пластом лежал, языком не шевелил. А потом – не уследили за ним – взял карабин в пирамиде, ушёл с ним в корму да и выстрелил себе в рот. Или вот тоже – на «Орфее»: пошёл с нами один, из милиции. Всё похвалялся, что он приёмы знает, любого может скрутить. А

за Нордкапом его самого скрутило – уполз на ростры, поселился в шлюпке, так и пересидел. Я, помню, принёс ему с камбуза миску квашеной капусты – говорят, помогает, да он на неё и смотреть не мог, смотрел на волну, не отрываясь. «Я знаешь чего решил, – говорит. – На тринадцатый день, если эта бодяга не кончится, прыгаю на фиг в воду!» А в глазах тоска собачья, мне тоже прыгнуть захотелось, с ним за компанию. Мы уже думали – связать его, пускай в кубрике полежит, но двенадцатый день кончилось, и он сполз оттуда, списался на первой базе. Теперь снова в милиции служит.

Кандей наконец позвал с кормы:

– Чай пить!

В салоне мы все следили за нашими салагами. Диме-то всё нипочём, держался, как серый волк по морскому ведомству. Сразу и кружку научился штормовать – меньше половины пролил. Алик же – поморщился, поморщился и тоже стал есть. Но это ещё ничего не значит. Надо, чтоб закурил человек...

Дрифтер открыл свой портсигар, протянул Алику. Шурка поднёс спичку.

– Спасибо, – Алик удивился. – У меня свои есть.

– Вот, от них-то и мутит, – сказал дрифтер. – Рекомендую с антиштормином.

Алик поглядел настороженно, ждал какого-нибудь подвоха. Потом всё же закурил. Тут мы все и расплылись. На это всегда приятно смотреть – ещё одного морская болезнь пощадила, пустила в моряки.

– Теперь посажуй у меня, салага, – сказал боцман. – Сегодня же на руль пойдёшь как миленький.

– А я разве отказывался? – спросил Алик.

Дима всё понял и засмеялся. Однако слова свои назад не взял.

2

За Нордкапом погода ослабла, и мы потихоньку начали *набирать порядок*: из сетевого трюма достали сети, стали их растягивать на палубе, укладывая на левом борту; ещё распустили бухту сизальского троса, поводцов из него нарезали двадцатиметровых. Обыкновенно это на третий день делается или на четвёртый, лишь бы до промысла всё было готово. Но если погода хорошая, лучше сразу и начать, потому что она не вечно же будет хорошая, не пришлось бы в плохую маяться.

С утра было солнце и штиль – действительно, хоть брейся, – и мы себе шлёпали вдоль Лофотен, так что все шхеры видны были в подробности, чуть присинённые дымкой. И вода была синяя с прозеленью. Чайки на неё не садились – рыба снова ушла на глубину, – иногда лишь альбатросы за нею ныряли. С вышины кидались белыми тушами и не выныривали подолгу, – думаешь, он уже и не появится, – но нет, показался с рыбиной в клюве, только глаза налиты кровью. Тяжёлый же у птахи хлеб! Обыкновенно, когда работаешь, всего и не видишь, некогда лоб утереть, но порядок набирать – работа спокойная, можно и покурить, и байки потравить, и поглядеть на красивый берег.

Мы как раз и расселись на сетях, дымили, когда боцман привёл их ко мне – Алика, значит, и Диму.

– Вот, – говорит, – это у нас Сеня. Матрос первого класса. Учёный человек. Он-то вас всему и научит. Слушайте его, как меня самого.

И пошёл себе, довольный, оглаживая свою бородку. Ну что ж, я на это сам почти напросился. Моряки, конечно, подняли головы – ждали какой-нибудь потехи. Это уж обязательный номер, да я это и сам люблю. А салаги стоят передо мной, переминаются, как перед каким-нибудь капитан-наставником.

Хорошо, я сел и сказал им – Алику, значит, и Диме:

- Начнём, – говорю, – с теории. Она, как известно, опережает практику.
- Не совсем точно, – Алик улыбается. – Она её и подытоживает. И на ней базируется.
- Кто будет говорить? Я буду говорить или ты будешь говорить?
- Пардон, – сказал Дима. – Валяй, шеф.
- Первый вопрос такой: каким должен быть моряк?

Моряки там уже потихоньку давились.

- Ну, тут ведь у каждого свои понятия, – сказал Алик.

- Знаешь или не знаешь?

- Нет, – сказал Дима. Скулы у него сделались каменные.

– Моряк должен быть всегда вежлив, тщательно выбрит и слегка пьян. Второе: что он должен уметь?

- Мы люди тёмные, – сказал Дима. – Ты уж нас просвети.

- Вот, это я и делаю. Моряк должен уметь подойти – к причалу, к столу и к женщине.

Старые байки, согласен, но с них только всё начинается. Салагам, однако, понравилось.

Алик, тот даже посветлел лицом.

- Теперь, – говорю, – практика. Ознакомление с судовыми работами.

- Пардон, шеф, – сказал Дима. – Мы знаем, что на клотике чай не пьют.

– А я вас на клотик и не посылаю, – говорю. – Я вам дело поручаю серьёзное. Ты, Алик, сходи-ка в корму, погляди там – вода от винта не греется? Пар, в смысле, не идёт?

- А это бывает?

- Вот и следят, чтоб не было.

Пожал плечами, но пошёл. Дима смотрел насупясь – он-то чувствовал розыгрыш, да не знал, с какого боку.

– А ты, Дима, вот чем займёшься: возьми-ка там, в дрейфтерском ящике, кувалду. Кнехты осадить надо. Видишь, как выперли.

Тоже пошёл. Скучно мне всё это было до смерти. Но моряки уже, конечно, лежали. В особенности, когда он поплевал на руки и стукнул два раза, тут-то и начался рёгот.

– Что, – спрашиваю, – не пошли кнехты? Мешок пару надо заказать в машине, пусть маленько размякнут.

В это время Алик является с кормы.

- Нет, – говорит, – не греется. Я, во всяком случае, не заметил.

Моряки уже просто катались по сетям. «Ну, Алик! Ну, хмырь! Не греется?» Алик посмотрел и тоже засмеялся. А Дима взял кувалду и пошёл ко мне. Ну, меня, конечно, догонишь! Я уже на кухтыльнике был, пока он замахивался. И тут он как двинет – по кухтылю. Хорошо, кухтыль был слабо надут, а то бы отскочила да ему же по лбу.

- Э, ты не дури, салага. Ты её в руках держать не умеешь.

- Как видишь, умею. Загнал тебя на верхотуру.

- Ну, порядок, волокни её назад, у нас ещё работы до чёрта.

- Какой работы, шеф?

Смотрел на меня, как на врага народа. А чёрт-те чего, думаю, у этого раскосенького на уме. С ним и не пошутишь, идиолом скуластым.

– Мало ли, – говорю, – работы на судне. Палубу вот надо приподнять джилсоном, а то бочки в трюмах не помещаются.

- Нет, шеф, это липа.

- Кухтыли надувать.

- Чем? Грудной клеткой?

- А чем же ещё?

- Тоже липа.

А хорош бы он был, если б я его заставил кухтыль надувать – вместо компрессора. Но это сразу надо было делать.

– Ладно, повеселились...

Я прыгнул, отобрал у него кувалду. Всё-таки он молодец был, моряки его зауважали. А этот Алик, конечно, лапша, заездят его на пароходе.

– Продолжим практику, шеф?

– Продолжим, – я наступил ему на ногу, потом Алику. Они, конечно, опять ждали розыгрыша. – Первое дело: скажете боцману, пусть сапоги даст на номер больше. В случае, свалитесь за борт, можно их скинуть. Всё же лишний шанс.

– А вообще, между нами, девочками, говоря, – спросил Алик, – таких шансов много?

– Между нами, девочками, договоримся – не падать.

– Справедливо, шеф, – сказал Дима.

– Второе – на палубе чтоб я вас без ножей не видел. Зацепит чем-нибудь – тут распутывать некогда.

– Такой подойдёт? – Дима вытащил ножик из кармана, щёлкнул, лезвие выскочило, как чёртик. – Чик – и готово.

– Спрячь, – говорю, – и не показывай. Это в кино хорошо, а на палубе плохо.

– Почему же, шеф?

– Потому что лишний чик. Шкерочный возьмёшь. И наточишь поострей, обе стороны.

Мне ещё многому пришлось их учить – и узлы вязать, и марку накладывать, чтоб трос на конце не расплеснивался, и сети укладывать. Много тут всякой всячины. Меня самого никто этому не учил. Ну, правда, я с флота на флот попал, но тут и чисто рыбацкой премудрости было с три короба, а этому уже и не учили. Орали, пока сам не выучился.

Они ничего соображали, не туго, да тут и недолго сообразить, если кто покажет толком. Найти только нужно – кто бы и мог объяснить, и хотел. Я вам скажу, странно себя чувствуешь, когда расстаёшься с какими-то секретами. Что-то как будто от тебя убывает, от твоей амбиции. Вот, значит, и всё, что ты умеешь и знаешь? Только-то? И всё равно же они всю премудрость за один рейс не освоят. А во второй, пожалуй, и не пойдут.

– А всё ж таки, ребяташки, – я их спросил, – кой чёрт вас в море понёс? Романтики захотелось?

Дима лишь усмехнулся краем губы. Алик же помялся, как девица.

– За этим ведь тоже ходят, правда?

– И находят, – говорю, – не только что ходят. Матюгов натолкают вам полную шапку, тут вы её и увидите.

– Ну, шеф, – сказал Дима, – это мы тоже умеем.

– Да, на первое время вам и это – утешение. А если по правде – так деньги поманили?

– Шеф, это тоже не лишнее.

– И вообще, интересно же, – Алик сказал, – как её ловят, эту самую селёдочку. Которая так хороша с уксусом и подсолнечным маслом.

И сам же смутился, когда сказал.

– Так. А на берегу – кем работали?

Алик опять помялся, посмотрел на Диму. Тот быстро сказал:

– Шофёрами. На грузовых. Если интересуется, можем рассказать при случае. Поговорим, шеф, за карбюратор, за трамблёр.

– Что ты! Мне этого вовек не понять.

Мы потравливали трос из-под лебёдки, смазывали его тавотом от ржавчины. Алика я за ключом послал, – «крокодиллом», потом дал его Диме – развинтить чеку.

– А работа как? – я спросил. – Нравилась?

– Не пыльная, – сказал Дима. – Временами наскучивало.

- А в смысле шишей?
- На беленькую хватало. По большим революционным праздникам.
- И по субботам?
- Почему же нет, шеф?

Я засмеялся.

- Нет, – говорю, – по субботам уже не хватало.

Тут и Дима смутился:

- Пардон, шеф. Не понял.
- Потому что шофёрами вы не работали.
- С чего ты взял?

– Ну, это просто. Ты гайку отвинчивал – сначала вправо подал, потом уже влево. Шофёр так не сделает.

- Ну, шеф, это ещё не улика.

– Ладно, – сказал я ему, – не закипайся. Не хочешь говорить – не надо, я у тебя не анкету спрашиваю. И что ты всё – «шеф» да «шеф»? Заладил тоже! Я те не таксишник.

Я ушёл к лебёдке, смотреть трос. Они думали – я не слышу.

- Действительно, – Алик ему сказал, – зачем вилять?
- Ну скажи ему, скажи, бродяга. Чей ты родом, откуда ты.

А бог с ними, с дурнями, я подумал, на судне-то разве утаишься. Всё про тебя узнают, рано или поздно.

День на четвёртый, на пятый они помалу освоились, начали разбираться, что к чему. Ещё больше вид делали, что освоились, по глазам было видно – для них это тёмный лес: триста концов извиваются, не знаешь, за какой взяться. И вот слышу – Дима кричит Алику:

- Брось ты эту верёвку, мы одну и ту же койлаем. Вот эту бери, у меня под сапогом.

И берёт Алик эту самую «верёвку», мотает себе на локоть одной левой. А правая у него – в кармане. Я его отозвал и сказал по-тихому:

– Не дай тебе бог, салага, работать одной рукой. Что ты! Заплюют тебя, замордуют, живой не останешься.

- А кому какое дело, – спрашивает, – если я одной могу?
- Тем более и двумя сможешь. Надо, чтоб обе были заняты. И Димке это скажи.
- Это интересно!
- Ну, не знаю. А мой вам совет.

Однако не вняли они. А лишней руке кто же на палубе дела не найдёт? Димку, правда, не очень стали гонять, он и послать может, а этот – отзывчивый, рад стараться.

– Алик! – ему кричат. – Ты чо там стоишь, делать тебе не хрена, сбегай к боцману, иглу принеси и прядину.

Алик не стоит, он ждёт, когда ему поводец дадут – закрепить на вантине. Но бежит, приносит иглу и прядину.

- Алик! Иди-ка брезент стащим, я в трюм слазаю.
- Но у меня же тут...
- Без тебя справятся!

Тащит Алик брезент.

- Алик, ты куда делся? Вот это – что за концы висят?
- Не знаю.

- А тебя и поставили, чтобы знать.

Распутался он с поводцами, лоб вытер. Теперь ему бондарь командует:

- Алик! А ну поди сюда – обруча осаживать.

Бочек тридцать он задумал, бондарь, для первой выметки приготовить, и мы ему с Шуркой помогли. Справлялись вполне, салага нам был не нужен. Тут уже я не вытерпел.

– Иди назад, – я сказал Алику. – И стой, где стоишь. Всех командиров не слушай.

Бондарь усмехнулся, но смолчал, постукивал себе ручником по обручу. Руки он заголил до локтя – узловатые, как у гориллы, поросшие рыжим волосом. С отхода мы как-то с ним не сталкивались, я уже думал – он меня не запомнил. Но нет, застрял я у него в памяти.

– Ты жив ещё, падло?

Улыбнулся мне – медленно и ласково. Глаза водянистые наполовину прикрыты веками.

– На, прими, – я ему откатил готовую бочку.

– И курточка твоя жива?

– В порядке. Мы чего с тобой не поделили?

– И в начальство пробиваешься?

Я засмеялся:

– Олух ты. В какое начальство? Над салагами, что ли?

– А приятно, когда щенки слушаются? Ты старайся, в боцмана вылезешь. Меня ещё будешь гонять.

– Тебя-то я погонял бы!

А сами всё грохаем по обручам. Шурка к нам прислушивался, потом спросил:

– Об чём травите, бичи? Мне непонятно.

– А нам, – я спросил, – думаешь, понятно?

Он поглядел подозрительно на нас обоих и сплюнул в море, через планширь. Чайка тут же спикировала и взмыла – с обиженным криком.

– В таких ситуациях одному списываться надо, – сказал Шурка. Советую от души.

– Пускай он, – говорю.

Бондарь ухмыльнулся и смолчал.

А салаги – я как-то вышел из капа, они меня не видели за мачтой, стояли одни на палубе, и Дима втолковывал Алику:

– ... потому что природа, создавая нас двуногими, не учла, что мы ещё будем моряками. Но есть один секрет. Шеф тебе не зря сказал: «Не смотреть на море». Обрати внимание, как они ходят по палубе. Она для них горизонт. На истинный горизонт не смотрят, а только на палубу. С ней накреныются, с ней же и выпрямляются. А у тебя устаёт вестибулярный аппарат. И всё время хочется за что-нибудь схватиться.

– Всё ясно, – Алик говорит, – и свежее дыхание пассата холодит нам кожу!..

Ушли довольные. Только всё за что-нибудь да хватались. А я стал на их место – интересно же, как это я хожу. И на что же я при этом смотрю? На палубу или на горизонт? Смотрел, смотрел и вдруг сам за подстрельник схватился. А ну их в болото, так ещё ходить разучишься.

3

– Смысл жизни ищут, – сказал я «деду». – Не иначе.

Мы у него в каюте поздним вечером приканчивали ту самую бутылку.

– Так, значит? – сказал «дед». – Ты-то уже бросил его искать?

– Оставил покамест. На период лова.

– И это хорошо. Но что-то не нравишься ты мне. Рассказываешь, а – брюзжишь. Стареешь ты, что ли?

– Может, и старею. Но дурью зато не пробавляюсь. Что они, своим делом заняты? Книжечек, поди, начитались, ну и пошли...

– Так это же прекрасно, Алексеич! Начитались и – пошли. Другой и начитается, а не пойдёт. Нет, это ты зря про них. Сейчас хорошая молодёжь должна пойти, я на неё сильно надеюсь. Моё-то поколение – страшно подумать: кто голову сложил, кто руки-ноги на поле оставил, кто лет пятнадцать жизни потерял ни за что, как я. Да и кого не тронуло – тоже не

всякому позавидуешь. Иному в глаза посмотришь – ну чистый инвалид. А тут что-то упрямое, всё пощупать хотят. Такой-то дурью пробавляться – лучше, чем с девками по броду шастать.

Я улыбнулся. Мне с ним не хотелось на моральные темы заводится, тут ни я не силен, ни он.

– А чем плохо? Если есть такая возможность. Я бы сейчас пошастал!

– Ну, это от тебя не уйдёт. Поплыли?

Мы допили, поглядели в пустые кружки. «Дед» закричал, будто с досады, опустил окошко и выкинул бутылку. Она промелькнула над планширем, красная от бортового огня, и исчезла в брызгах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.